

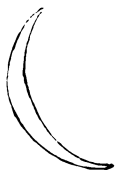
The background of the cover is a soft-focus illustration. In the upper right, a white glider is seen from below, flying against a pale blue sky. In the lower half, a young boy with dark hair is lying on his back in a field of tall green grass, looking up towards the sky with his arms raised.

Г. МИХАСЕНКО

**КАНДАУРСКИЕ
МАЛЬЧИШКИ**

ИЗДАТЕЛЬСТВО
„ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА“

Г. МИХАСЕНКО



КАНДАУРСКИЕ МАЛЬЧИШКИ



ПОВЕСТЬ

МОСКВА „ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА“ 1983

Идёт война с фашистами. До сибирской деревни Кандаур не долетают раскаты орудий, но и здесь идёт бой — трудовой. Ведь чем больше будет трудиться тыл, тем скорее придёт победа. И в этот бой вступают мальчишки. Большое дело доверил им колхоз — пасти овечье стадо. Если послушать ребят, простым и лёгким покажется их дело. Но не так всё это: нападает на стадо бандит с ножом, чуть не погибает в трясине овца, встречается ядовитая змея. Да и мало ли что бывает в жизни ребят, полной детских забот! Но мальчишки остаются мальчишками. Если есть свободное время, почему бы не поозорничать?

Однако большая книга не бывает про одних мальчишек, потому что нет такой жизни — одной мальчишеской. Есть большая жизнь, где дети и взрослые существуют на равных правах, и о ней-то от лица десятилетнего мальчика и рассказывает писатель.

Геннадий Михасенко живет в сибирском городе Братске. Инженер-гидротехник по образованию, он принимал участие в строительстве Братской ГЭС да так там и остался.

Рисунки О. К о р о в и н а

Друзьям моего раннего детства —
братьям **ФОМИНЫМ**
посвящается.

Автор

...Огромная, в полнеба, лошадь замерла над деревней в страшном полёте. На улице стало даже темно. Но дунул ветер, и лошадь расползлась, как намокшая бумага.

А через час, когда мы, подгоняя овец, вышли к Клубничному березняку, от хмурости неба не осталось и следа — над нами плыли весёлые облака, и ветерок только поторапливал их, но не тормозил.

Мы были самыми вольными людьми на свете — пастухами. Расположившись на солнечном склоне луга, мы замерли: Шурка с Колькой — лёжа на животках, я — сидя, так удобнее было смотреть вверх.

Я любил облака, любил следить за их лёгким гордым скольжением, любил рассматривать их причудливые очертания. Что только не могут они представить: горы, людей-великанов, невероятных зверей, фантастических птиц, а порой что-то такое, чему и названия не подберёшь, но что крепко завораживало сердце, и хотелось, чтобы облака плыли, плыли бесконечно...

Мир и тишина покоились вокруг, как будто не было, хоть и далеко, ни войны, ни бомб, ни смертей... Когда тень набегала на нас, мы глубоко вдыхали становившийся вдруг прохладным воздух, а овцы отрывали морды от травы и на миг застывали, плутовато покашиваясь на нас. Они понимали нас с полуокрика. Лишь изредка какая-нибудь хитрюга уклонялась в сторону пшеничных полей, и за ней приходилось бежать, щёлкая бичом.

Удивительно быстро ко всему привыкаешь! Ведь ещё месяца полтора назад ни я, ни Шурка, ни Колька и не помышляли о пастушестве, мы были просто бездельниками, как говорила Шуркина мать.



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ



ГЛАВА ПЕРВАЯ



Марфы Граммофониhi загорелась баня.

Мы, ребяташки, были в это время на вечёрке и, увидев зарево, бросились к месту пожара. Из дворов выскакивали люди с вёдрами и лопатами и мчались туда же, испуганно охая и ахая. Всем было тревожно. Лишь Колька изредка выкрикивал:

— Ура! Пожар!

— Да не ори ты! — оборвал его наконец Шурка. — Помнишь, прошлый год стог горел — сколько лесу заодно попластало?.. А сейчас может вся деревня заняться.

— Шурк,— спросил я,— а может вся земля сгореть? Если люди не справятся?

— Люди всегда справятся!

— Ну, а если пожар большой-большой?

— Всё равно, вся земля не сгорит. Через океаны огонь не перекинется, а вот полземли сгорит.

И это было страшно.

У дома Граммофонихи толпился народ. Слышались крики, звон пустых вёдер. Мы протолкались к воротам. У ворот стояла сама хозяйка и никого не пускала во двор, где был колодец, и не разрешала тушить пламя.

— Ты что, Марфа, сдурела?! Ай свою добра не жалко? Ведь сгорит баня! — шумели бабы.

— Пусть, окаянная, сгорит. У меня уж для новой брёвна припасены. А от этой всё одно никакой пользы, один страх: моешься, а всё на потолок глядишь, как бы матка не бухнулась на спину... Ну, куда прёте? Сказала, не пущу! К вам огонь-то не перебросится, не бойтесь! Она у меня среди огорода.

— Хоть и не перебросится, так ведь страшно! Уж залить бы, да и со спокойем...

— И так спокой: горит себе и горит... Пусти вас, так вы мне всю картошку потопчете.

Звуки вылетали изо рта Марфы быстро — таратара-тара,— как из трубы старинного испорченного граммофона. Вот поэтому-то её и прозвали «Граммофонихой».

Из пламени вырвался столб искр, на мгновение наполнив небо живыми звёздами, и растаял.

— Кажись, матка осела,— хладнокровно сказала тётка Марфа.— Однажды вот так же мылись и только, значит, головы намылили и ждём, когда нам Фроська воды свежей нальёт, а тут над нами возьми да и затреши. Мы, матушки мои, ровно совы, шарах-

нулись кто куда: кто в окно, кто в дверь, а Фроська прямо на печурку прыгнула. До сих пор подпалина осталась.

Люди, оглядываясь на огонь, стали понемногу расходиться. Мы же, обогнув двор и пробежав какие-то сарайчики, перемахнули ограду и, ошпариваясь крапивой, выбрались к горячей бане. Близко подойти не удавалось — обжигало лицо, и мы, встав в отдалении, следили, как из раскалённых брёвен, словно под напором, вырывались гибкие языки пламени и с треском летели вверх. Если бы они не таяли в воздухе, то был бы уже огромный огненный столбище.

Колька лёг на живот и ползком подобрался ближе. Мы тоже подползли. У самой земли было прохладнее, но мы подобрались настолько, что опять стало жарко. Картофельная ботва вокруг скорчилась и обвисла, как тряпичная, а около нас она высохла совсем и шуршала, как сено.

Кроме меня, Шурки и Кольки, тут было ещё несколько ребятишек. Все они, кто сидя, кто стоя, с прищуром смотрели на огонь.

— Как на войне... — сказал один из них. — Танки подбитые, наверное, вот так же горят. Ага?

— Танки не горят, — возразил Колька. — Они железные. А вот машины горят — у них кузова деревянные.

— И танки горят, хоть и железные. Железо-то керосином пахнет, ведь там — моторы, чего же им не гореть. С керосином хоть что сгорит, — проговорил тот же голос.

Внутри бани что-то тяжело рухнуло. Нас обдала волна жара и осыпало искрами. Мы только пригнули головы, но не отодвинулись.

Я подумал, что бомбы вот так же ухают. Только громче. Говорят, от разрыва бомб что-то лопаются

в ушах. А тут даже не больно — значит, бомбы громче.

Мы лежали, словно в огромной духовке, со всех сторон окутанные теплом; только земля сквозь штаны холодила колени. Хотелось вот так лежать и лежать, не двигаясь и не разговаривая, следить, как неудержимые вихри пляшут на худом срубе бани, да слушать беспрестанное потрескивание горящего дерева...

Рядом шлёпнулась пятнистая головешка.

Вдруг из темноты, со стороны двора, раздался сердитый крик:

— Ах вы, нечистые духи! Что вы тут делаете?!

— Граммофониха! — воскликнул кто-то.

Мигом вскочив на ноги, мы кинулись к ограде. Тётку Марфу мы недолюбливали и побаивались, потому что она была криклива и сердита и при всяком случае норовила расправиться с нами, причём неизвестно за что. Наверно, кто-то из нашей братии когда-то ей круто насолил, и нам вот теперь приходилось расхлёбывать эту кашу.

Граммофониха выбежала на освещённый круг и, уже не видя нас, начала трясти кулаками и, не двигаясь с места, грозить:

— Всё равно ведь догоню, басурманы вы этакие!

Мы уселись на жерди, и Колька крикнул:

— Не догонишь! Тут крапива.

— Догоню. Не сегодня, так завтра поймаю.

— А ты не знаешь, кто здесь, — не унимался Колька.

— Зна-аю!.. Кому же быть, кроме Петьки.

Мы от смеха чуть не свалились с жердей, потому что как раз Петьки среди нас и не было — он позавчера уехал к тётке в соседнюю деревню, где была

МТС и где он промышлял зубчатые колёса для гонялки.

— Смейтесь, смейтесь, окаянные! — угрожающе кричала Граммофониха.

Колька хотел снова ответить чем-то дразнящим, но Шурка опередил его:

— Тёть Марф, мы ведь ничего не делаем!

— Конечно, ничего! — поддержали вокруг ребяташки. — Мы так просто!

— А вы хоть и ничего не делаете, а такого понатворите, что не приведи господь... — Она пригнулась, увидела, должно быть, примятую ботву, снова выпрямилась и заорала: — Ничего, говорите! Да вы же мне пол-огорода вытоптали! Ах, ироды! Да я вас... — Граммофониха неожиданно сорвалась с места и неуклюже побежала в нашу сторону.

Мы прыгнули с жердей и удрали на другую улицу.

Несколько дней вспоминали мы о пожаре. Спрашивали друг друга, что было бы, если бы рядом с баней находился сеновал, а рядом с тем сеновалом — ещё пять сеновалов, а за ними — ещё сто. Получилось бы море огня, и вряд ли нашего озера хватило бы, чтобы затушить его.

Как-то, возвращаясь в темноте с вечёрки, мы перед домом Граммофонихи увидели белый сруб новой бани. Сруб был низким, его следовало наращивать. Работу, видно, прервал сенокос, и надолго — до осени: ведь за сенокосом — уборочная.

Убедившись, что в доме тишина, мы забрались внутрь сруба, потом походили в полном молчании, как лунатики, по стенам и вдруг на прощание решили снять несколько брёвен.

— А может, она следит за нами? — сказал я.

— Ну да! — возразил Колька. — Утерпела бы она

следить! Давно бы с поленом выскочила! Ну, давайте!

— Только чш-ш! — предупредил Шурка.

Рубили сруб начерно, без мха, и короткие сухие брёвна легко вынимались из гнезда. Мы осторожно спускали на землю сперва один конец, потом другой, вздыхали, брались за следующие и так увлеклись делом, что не заметили, как сняли два венца, и только неожиданно всполошившиеся во дворе Граммофоники гуси остановили нас. Мы опомнились и побежали прочь, унося с собой запах древесины и ощущение неудержимой буйности.

Домашних дел нам поручалось не много: то наколоть дров, то наносить воды, то повозиться в огороде. А сейчас и в огороде хлопоты уменьшились — всё там уже набирало сил и зрело без нашей помощи, так что свободного времени у нас было с избытком.

Любили мы ходить в Клубничный березняк за ягодой, сперва за земляникой, восторженно нанизывая её на соломинки, как бусы, потом — за клубникой, уже не с соломинками, а с чашками и кувшинами, и брали её без особой восторженности, деловито, но так же радостно вскрикивая при виде необычно крупной ягоды. Грибы привлекали нас меньше, потому что их нельзя было есть тут же, на месте, а надо было очищать, мыть, отваривать, жарить — долгая песня, а там ещё бах — и отравишься, а отпоят тебя молоком или нет — вопрос.

Но верхом удовольствия для нас было купаться в озере Крутышка, расположенном посреди деревни, и загорать на его травянистом берегу.

Иногда у озера появлялись Витька и Толька — сыновья нашей соседки Кожики. Они приходили с книжкой, усаживались в отдалении от нас, раз-

девались и принимались читать, прогреваясь на солнце перед тем, как лезть в воду. Купались они всегда в трусах, не то что мы — нагишом, и, надо сказать, плавали хорошо, особенно старший — Толька. Через некоторое время показывалась их мать и издали пронзительно кричала:

— Витя и Толя, идите кушать!

Они одевались и уходили, молчаливые и спокойные, и мы провожали их кто любопытным, а кто презрительным взглядами. Вот уже месяца три они живут здесь, а всё ещё ни с кем не сдружились и, похоже, не собираются сдруживаться, словно им хватает друг друга. Наши тоже не шли на сближение, считая Кожиных слишком грамотными и гордыми. Мне, правда, что-то нравилось в них, но что именно — я не мог себе объяснить. Была в их жизни какая-то непонятная строгость и скрытность, не то что в нашей шалопутной — всё как попало и всё на виду. Но я не спорил с Шуркой и Колькой и поддерживал установившееся мнение: братья нам не друзья.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Когда в колхозе начался сенокос, для нас нашлось дело. В самой деревне и за околлицей взрослые рыли силосные ямы. Мы пристроились было с лопатами, но бабы нас прогнали, сказав, что развяжутся наши пупы. Землю бросать было действительно трудно — тяжёлая глина прилипала к лопате, и при броске лопата вырывалась из рук. Но когда стали возить свежескошенную траву и закладывать в траншею, тётка Дарья — председательница — подозвала нас:

— Что, мужички, помогать рвётесь? Тогда слу-

шайте. Сейчас приедут на Игреньке. Так вот, выпрягайте его и уминайте траву! Ясно?

— Ясно!

Бабы поддержали:

— Вот это по ним!

Мы с радостью встретили Игреньку. Он был нашим любимцем. Необычайно сильный и красивый, этот жеребец не кусался, не лягался и не урósил. Но когда Шурка подвёл его к траншее, уже наполовину заваленной травой, и дёрнул за узду — мол, прыгай,— конь упёрся.

— Смелей, Игренька! Смотри! — крикнул Колька и сиганул вниз.

— Смотри! — подхватил и я, летя следом.

Мы ещё по разу показали Игреньке, как легко и приятно прыгается, но он лишь вскидывал голову и пятился. И только когда целый воз травы вывалили в яму у края и сгладили перепад, жеребец решился, скакнул и по брюхо увяз в траве.

— Ура-а! — крикнули мы.

Шурка прямо с края траншеи метнулся в седло. Лицо его, в частых веснушках — точно недоспелые маковинки въелись в кожу,— сияло восторгом. Он стукнул Игреньку пятками по бокам и дёрнул узду.

— Но-о!

И конь пошёл, а точнее — поплыл, подпираемый травой, так что даже хвост стелился, как по воде.

Мы кувыркались рядом, хохоча и суя друг другу за шиворот пучки душистой, прохладной и колкой травы.

— Шибко-то не беситесь,— сказала тётка Матрёна, Шуркина мать, которая была тут же и которая траву, сваленную в кучу, разбрасывала по всей яме.— Вас к делу приставили, значит, делом и занимайтесь.

— Пусть порезвятся, ребятишки ведь,— вступилась Нинка, весёлая девка, первая плясунья на вечерках.

На валу у края траншеи сидела Нюська, Шуркина сестрёнка, и канючила:

— Шурка, прокати-и-и... Шурка, прокати-и-и...

— Маленькая ещё,— ответил Колька.— Вот подрастёшь — будешь кататься.— И отвернулся от неё.— Шурк, как новый воз, так меняемся. Ладно?

— Ладно.

— Мишк, давай и мы уминать. Я на тебя сяду верхом, а ты ползай.

— Нет уж, давай лучше я на тебя сяду верхом.

— А-а...

— Вот тебе и а-а-а.

Колька по пояс зарылся в траву. Самой заметной частью на Колькиной голове были уши — большие, как вареники, которые разварились и из которых выпала начинка. Мне всегда хотелось щёлкнуть по этим ушам.

Игреньке трудно было двигаться. Мы чувствовали это и не торопили его — ему видней, как работать.

Возы один за другим тянулись с полей, мы чередовались, а Игренька всё шагал и шагал без понукания, точно заведённый,— казалось, слезь с седла — он будет так же шагать. Но когда мы и вправду оставили седло пустым, Игренька остановился и удивлённо посмотрел на нас, словно спрашивая: что, кончена работа? Умный жеребец.

Уровень травы медленно полз вверх.

Вечером на последнем возу приехала тётка Дарья. Она была в сапогах, юбке и кофте; на плечах лежал платок, спустившийся с головы и открывший узел волос. Бабы обычно после бани наматывают такие «шишки», а у тётки Дарьи она постоянно.

— Ну как, мужички? — спросила председательница.

— Ничего, — ответил я, уминая с Колькой траву в углу, куда коню неудобно было зашагивать.

— Игренька молодец! — сказал Шурка.

— Да, Игреньюшка наш — золото! — согласилась тётка Дарья.

— Да и у самих небось косточки-то ноют! — заметила тётка Матрёна.

— Чего им ныть! Мы только ездим! — солидно ответил Колька.

Председательница подмигнула Шуркиной матери, и обе улыбнулись.

— Ладно, хлопцы, кончайте. Завтра утречком пришлю баб закидать яму... Две ямы есть. Ещё три-четыре, и живём.

Нюська вдруг вскочила и крикнула:

— Коров гонят! Коров гонят! Шурка, беги встречай Пеганку!

Пеганка была или задумчивой, или глупой — она всегда проходила мимо своего двора и, если её не остановить, могла спокойно пройти всю деревню и выйти в поле и ещё дальше. Поэтому мы каждый вечер встречали её и провожали в хлев.

— Я сама, — сказала тётка Матрёна. — Я сама управлюсь. А вы Игреньку на покой спровадьте, натрудился он.

Мы втроём вскарабкались на широкий Игренькин круп и медленно поехали по улице, которая вечерами приятно оживлялась и наполнялась привычными звуками: мычанием, звоном вёдер, скрипом телег и людской речью.

В Мокром логу мы спутали Игреньку и, сняв седло, пустили на волю.

Вот тут-то и навалилась на меня долго сдержи-

ваемая усталость. А седло, которое нам пришлось поочерёдно тащить до конюшни на своих горбушках, доконало меня, и домой я приплёлся еле-еле — все косточки мои действительно изнывали.

Узнав, чем мы занимались, мама разулыбалась и поставила передо мной стакан молока и чашку дымящейся картошки с грибами.

— Ешь, мой дорогой колхозничек! — сказала она, садясь напротив. — А хлеб завтра будет! Ешь!

От картошки исходил сладчайший дух, он дразнил меня, щекоча ноздри, но есть не было сил. Пихнуть бы всё разом в желудок — вот бы хорошо, а то надо было двигать рукой, челюстями, языком, а потом ещё глотать!.. С трудом одолев полчашки, я передохнул. О вечерних встречах мы с ребятами обычно не договаривались — это выходило само собой. Как ни умаивались мы за день, но после ужина появлялись откуда-то новые, вечерние силы и несли нас к клубу или к кому-нибудь под окно, где всхлипывала гармошка. А тут свежих сил не появлялось. Я ещё поковырялся в еде — нет! — и, допив молоко, отложил ложку. словно почувствовав моё состояние, мама сказала:

— Миша, может, хватит гулянья на сегодня, а? А то я тебя и так целыми днями не вижу, а ты ещё вечером убегаешь! Неужели тебе не хочется побыть со мной?

— Хочется.

— Вот и давай!

— Давай!

— На днях мы переберёмся на дальние луга, и там придётся оставаться с ночёвкой, чтобы не терять время на дорогу, так что нам нужно наговориться. Нам ведь есть о чём поговорить, да, Миша?

— Есть.

— Вот и хорошо!

Маму я любил, любил очень. Она была не такая, как все. Так считал не только я, но и Шурка, и другие ребята, даже взрослые так считали — я однажды слышал их разговор. Тётки говорили, что таких женщин, как Лена, поискать да поискать, что, мол, хоть и городская, а своя: и к людям — всей душой, и никакой работы не чурается. До войны мы жили в городе, мама училась на каких-то курсах, а когда папа ушёл на фронт, мы переехали в эту деревню, в Кандаур, где жила папина сестра тётка Феоктиста, или просто тётя Фиктя. Сейчас мама работала учётицей в бригаде и одновременно — заведующей клубом.

Мама помогла мне улечься, пощупала ноги и лоб, подоткнула одеяло и, присев на краешек кровати, сказала с лёгкой грустью:

— Не пишет нам папа-то.

— Не пишет.

— А как ты думаешь, Миша, почему он не пишет?

— Я думаю, что... что некогда. Всё бои, бои. Он всё стреляет и стреляет — вот и некогда.

— Может быть.

— Или, может, чернил нету. А раз чернил нету, чем напишешь?

— А карандашом?

— А может, и карандаша тоже нет.

— Да, может быть, и так.

Я бы ещё мог назвать несколько причин, по которым папа мог не писать, но я умолчал о них — это были нехорошие причины, страшные. Мама и сама, наверное, догадывалась о них, но догадки — это одно, а сказать — другое.

— Да,— вздохнула мама,— пять месяцев... Ну, а как твои дела?

— Хорошо. Бегаю.

— С Кожиными не подружился?

— Нет.

— Зря. Они хорошие ребята, умные. Они бы тебя многому научили.

— Кожиха их как в тюрьме держит... Да и все ребяташки против них.

— Вот тебе и надо первому к ним подойти, ты сосед. И потом, мы ведь тоже немножко городские, должны понимать их лучше, чем другие. А представь, что от тебя вот так отворачиваются! Каково это?

Я кашлянул вместо ответа.

Помолчав, заговорили опять, но о другом. Мама сказала, что немцы подступают к Сталинграду и что там, наверное, будет тяжёлая битва, потому что пускать врага за Волгу нельзя; и что скорее бы наступила уборка, потому что людям нужен хлеб и в ты-



лу, и на фронте. Я знал уже про всё это, но сейчас ясно сказанные в тишине слова звучали для меня более серьёзно и проникновенно.


Я почему-то вспомнил весну, когда мы, ребяташки, дрались на подтаявших огородах из-за прошлогодних гнилушек, которые после сушки можно было перетереть на муку. Я отчётливо представил чумазы ватаги, которые валом двигались по огородам, перекапывая землю и собирая дряблые водянистые «шмоньки». Это был голод. А сейчас голода не было. Была картошка, и был хлеб, из картошки правда, невкусный, но терпимый. А вот настоящего...

— Мама, как пшеничного хлеба охота.

— Верю, Миша, верю...

Я уснул и видел во сне румяные булки, которые пеклись на люке танка, проходившего по нашей улице.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

сть тут у меня одна антиресная личность — баран. Рога по два раза завиты, сам как чёрт и звать Чертило. Это его пастих так прозвал. Метко, окаянный, прозвал, — рассказывал сторож, дед Митрофан.

Мы втроем пришли встречать Пеганку и в ожидании стада сели у ворот скотного двора. Дед, любивший поговорить, примостился рядом и, выразительно играя морщинистой физиономией, рассказывал:

— Так вот, этот Чертило мне всю кровь испортил. Выгоню его со стадом, а через час он вертает и — ко мне. Как бухнет по воротам, аж доски трещат. Я за палку и — к нему. «Ах, ты лешак, кричу. Чтоб тебя паралич разбил!» Отгоню. А он сызнава подкрадётся

да ещё пуще как хлестанёт, вот ведь нечистая сила! «Кто тебя объягнул, говорю». И опять же — за палку. Помотает-помотает он головой-то да и уйдёт. Ну, и с богом! А он, нехристь, окружит поскотину да через жерди и перескочит. Я глядь, а он уж во дворе... А вначале-то баранище чуть было меня на рога не посадил. Отогнал я это его и пошёл, дай, думаю, в конюшне приберусь да погляжу, как там крыша поживает, уж больно худа она, худее меня. Да. И только я это в конюшню-то зашёл и промаргиваюсь, как он, Чертило-то, прыг — и упёрся рожищами мне в брюхо. Стойла у меня перед глазами колыхнулись. И уж как я выскочил из конюшни — диву даюсь. Бегу рысцой через двор, а баран на пятки наступает и дышит в спину. Хорошо, телятник был открыт. Там я и схоронился... Вот ворота покалечены — его дело, он всё наковырял, нехристь! Стараются, будто трудодни зарабатывает... Да... А намедни... Кажись, гонят.— Дед Митрофан с кряхтеньем поднялся и открыл ворота.

Овечье стадо, двигавшееся во всю улицу, сузилось и влилось во двор.

Пастух щёлкнул бичом над последней овцой и перевесил бич через плечо.

Некоторые думают, что пастух — это самый никудышный мужичишка в деревне, полукалека или полудурок, которому-де некуда деваться, вот он и идёт пасти.

Ерунда.

У нас колхозных овец пас Анатолий, мой двоюродный брат — сын тётки Феоктисты. Парень он крепкий, как сруб. Бывало, играют в городки, так ему простую битую не подноси, дай ему либо кол, либо пол-оглобли. И ума не пойдёт занимать. Он получал две газеты и частенько на вечерках рассказывал про со-

бытия на фронтах и про жизнь в Африках. Он и сам давно бы ушёл в армию, если бы не уши — что-то неладное творилось у него со слухом. Он то слышал хорошо, то плохо. Когда портился слух, Анатолий становился неприветливым, говорил громко, словно старался разбудить кого-то; когда слышал хорошо, был весел, с нами шутил, болтал, но больше половины того, что он говорил, мы ещё ни разу не поняли. И слова вроде знакомые, а что к чему — не ясно, а то и слова какие-то заковыристые.

— Здорóво, обормоты, — сказал он. — Всё сидите?

— Сидим.

— Валяйте. Только цыпят не высидите... Дедушка, тётка Дарья не была тут?

— Пока нет, а что тебе?

— Всё то же...

— А-а, — понимающе протянул дед. — Это, конечно, надо уравновесить.

Мы не знали, в чём дело, и дед Митрофан, может, не знал, а прикинулся знающим.

Подъехала тётка Дарья на телеге, в которую была впряжена рыжая костлявая кобылёнка, носившая непонятную кличку — «Грёза». Так назвал её какой-то дяденька в очках. Он приезжал в колхоз из города, долго всё везде осматривал, записывал, потом увидел эту лошадь и весело сказал:

— Нет, это не просто кобыла — это грёза.

С тех пор эта кличка закрепилась, вытеснив прежнюю, но ни на прежнюю, ни на эту лошадёнка никогда не отзывалась, даже ухом не вела. Она была какой-то сонной, пришибленной.

Анатолий движением больших пальцев согнал складки рубахи с живота на спину и шагнул к телеге. Неожиданно он взял Грёзу за кольца удил и потянул вниз. Кобылка коротко заржала и упала на колени.

— Что это за цирк, Анатолий? — встревоженно спросила председательница.

Анатолий резко передёрнул бровями — слил их вместе и тут же раскинул в стороны.

— Это, тётка Дарья, не цирк, а демонстрация.

— Какая демонстрация?

— А вот такая... Кроме этого, я могу гнуть ломы и плющить подковы. А вы меня заставляете бичиком махать.— Анатолий сдёрнул с плеча бич и потряс им.— Люди косят, скирдуют, а Толька Михеев забавляется, за овечками смотрит.

Тётка Дарья улыбнулась и сказала:

— Вот оно что. А я было испугалась, думаю: не спятил ли парень.

— Да и спятить можно... Повышай мне квалификацию!

— Ты лучше помоги кобыле подняться. Пригвоздил, леший.— И пока Анатолий помогал лошади встать, председательница тихо сказала деду Митрофану: — Каков, а?!

— В аккурат! — улыбнулся дед.

— Ты что же, парень, думаешь, мы тебя не потревожим? Забыли, думаешь? Ты у нас из головы не вылезает со своими ручищами, и нечего демонстрацию показывать... Тут другое надо решить: кого к стаду поставить. Стадо, оно ведь не шутейное...

— Мало у нас девок? Что ни девка, то соловей-разбойник.

— Нет, девки нам позарез нужны.

— Кто сейчас не нужен? Все нужны.

Наступившее молчание вдруг прервал Шурка:

— А нас? А мы?

Взрослые посмотрели на нас. Тётка Дарья отчего-то начала пристукивать сапогом о землю.

— А вы не побоитесь? — спросила она.

— Нет!

— Попробовать можно.

— Конечно, можно,— подхватил Анатолий.—

Есть же у них порох в пороховницах.

Сперва до меня не дошло, что это мы можем стать пастухами, а когда дошло, я встрепнулся и шлёпнул Кольку по плечу.

— Чуешь!

— Фу-у! — презрительно фыркнул он.— Нашёл что чують — овцы!

— Целое стадо!

— А хоть два целых стада! Овцы — овцы и есть. Вот коней бы пасти — да-а! Крикнешь: Серко, Ворон, Игренька — они тут как тут! Иго-го! А эти — хоть заорись! Как, бестолочи, вчистят в пшеницу! Нам же и будет влетать от тётки Дарьи!

— А мы их не пустим в пшеницу — бич-то на что? — нашёлся я.

Мы спорили у Шурки за спиной, сперва тихо, а потом разошлись вовсю. Шурка обернулся:

— Вы чего это?

— Да вон Колька не хочет пасти,— сказал я.

— Не ври,— грозно перебил Колька.— Шурк, он врёт. Я не говорил, что не хочу.

Шурка широко улыбнулся, потёр, как взрослый, ладони и неожиданно столкнул лбами нас с Колькой. Мы нарочно сморщились, а Шурка тихо сказал:

— Только бы тётка Дарья не раздумала... Знаете, как это мировецко — пасти. Я тяткино ружьё возьму, во!

— Возьмёшь! — воскликнул Колька просияв.— А патроны есть?

— Заряженных нету.

— А пустые?

— Пустые есть.

— Мы пустыми будем стрелять. Ура!

— Вот,— сказал я,— пляшешь небось, а то не хотел.

— Теперь мамка не будет говорить, что мы бездельничаем,— радостно заявил Шурка.

У скотного двора останавливались подводы, привозившие колхозников с полей. Телеги оставались здесь, а лошадей выпрягали, отводили на водопой и потом, спутав, пускали за околицу.

Бабы, узнав, что власть над овцами хотят передать нам, зашумели:

— Распустят стадо.

— С ними горя не оберёшься.

— Ложку им в руках держать, а не бич.

— Да что вы, бабы! — успокаивала их тётка Дарья.— Овцы-то наши первобытные, что ли? Разбегутся... Почему разбегутся, когда они к рукам людским привычные, а у мальцов руки крестьянские, наши руки, к хозяйству сноровистые.

Коров уже прогнали. Мы спохватились и побежали искать Пеганку. Мы настигли её в конце деревни. Она шла, понунив голову, и, когда мы обогнали её, повернулась и спокойно зашагала обратно.

Мама растапливала в ограде железную печку. В соседнем дворе, отделённом от нашего жердяной перегородкой, сутилась возле такой же печки тётя Оля — Кожиха, как мы её звали.

— Мама, мы с Шуркой и Колькой скоро пастухами будем! — заявил я гордо.— Тётка Дарья нас определила вместо Анатолия!

— Да ну-у! — обрадовалась мама.

— Пастухами? — ужаленно переспросила Кожиха, прижав костлявую руку к груди.

— Да! — подтвердил я.

— Молодцы! — заключила мама.— Придётся те-

бе чинить сандалии. Босиком нельзя, а в сапогах тяжело. Так я и думала, что тётка Дарья сыщет вам подходящее дело!

Забежав в сени напиться, я услышал оттуда скрипучий голос Кожихи:

— Чему вы радуетесь, Лена? Малышей — пастихами! Да ведь это!.. Это самое стадо их просто раздавит, растопчет, растерзает! Там такие ужасные бараны! Издали смотреть — и то страшно! Я бы Вите и Толику даже думать об этом не позволила!

«Ну и не позволяй! Подумаешь! Держит их под собой, как клушка цыплят, поэтому-то они, наверно, такие! — энергично думал я с застывшим у рта ковшиком. — В трусах купаются — боятся, что пиявка куда-нибудь залезет! Мама, не слушай её!» — чуть не крикнул я.

Но мама рассудила сама:

— Не беспокойтесь, Ольга Ивановна! Ребятишки наши самостоятельнее, чем мы думаем!

— Не знаю, не знаю!

— Да и ваши бы, Ольга Ивановна, не сплеховали!

— Что вы, Лена!

Я вышел, нарочно хлопнув дверью, и уселся на крыльце. Глянув на меня, Кожиха замолчала и, поставив на лёгком трёхногом столике тарелки, крикнула:

— Витя и Толя, идите кушать!

Братья вышли из дому, чистенькие и аккуратные, и принялись есть, тоже аккуратно и не спеша, под пристальным взглядом матери. Вместе с ними она за стол не садилась и вообще, похоже, не питалась на виду у людей, потому что это было странно до ужаса — как она ела! Как-то в начале лета мама попросила меня отнести Кожиным десяток яиц, кото-

рые кто-то оставил для них, — своих ни кур, ни коровы они, как и мы, пока не держали. Я робко заглянул в полуоткрытую дверь. Ребят не было. За столом сидела одна Кожиха и... ела. Брала кусочек в рот, мумлила-мумлила, потом глотала, потом быстро запрокидывала голову назад, как подавившаяся курица, и через воронку вливала в рот чай, судорожно двигая костлявым телом. Я стоял за порогом, оцепенело следя за её движениями, затем осторожно попятился и выскочил вон, дав себе зарок никогда больше не бывать у них. Лишь позже я улышал, что у Кожихи узкий пищевод, и чаем она проталкивает пищу в желудок. Но это объяснение не сглаживало жути увиденного.



Возвышаясь над сыновьями, Кожиха беззлобно покрикивала на них:

— Толя, ну куда ты спешишь?.. Витя, не тянись. Этот кусочек для Толика, тебе ведь нельзя кушать жесткое — у тебя спаянные кишочки.

Может быть, дома Витька и терпел такие унижительные замечания, но здесь он не выдержал, положил вилку и вспыльчиво сказал:

— Мама, какие же у меня спаянные кишочки?! Операция была пять лет назад, и уже два года я ем что попало, только скрываю от тебя, а ты — «спаянные, спаянные».

Кожиха вдруг вытянула шею, взялась рукой за грудь, точно задыхалась, и заговорила быстро-быстро:

— Витя, Витенька, ты меня убьёшь! Сведёшь в могилу! Ох, я чувствую...

Ребята испугались, дали ей воды и замолкли, смиренно опустив головы.

Она их держала в кулаке, эта тётка, сухая и чёрная, как обгоревшее дерево. Она и была одной из причин нашего недружелюбного отношения к братьям, их мать.

— Миша, нечего глазеть. Иди в избу да займись сандалиями,— шепнула мама...

Анатолий, когда мы его встретили за околицей, сказал:

— Вот что, обормоты, вы сегодня часика через два явитесь ко мне на пресс-конференцию. Ясно? — И ушёл.

Мы переглянулись.

— Про что это он?

— Может, чай пить? — робко предположил Колька.

— Ну вот... За что нас чаем поить?..

Мы пошли. Вечер был лунный, с пепельным блеском. Под таганками во дворах трещали щепки, раз-

брасывая малиновые угольки. У тётки Фикти в ограде было тихо, только у плетня тяжело отдувалась корова. Посреди двора колыхалась сгорбленная тень подштанников, одиноко висевших на верёвке. Сейчас подштанники редко увидишь в деревне, всё больше юбки да кофты.

— А, обормоты! Присаживайтесь!

Анатолий сидел на крыльце, щёлкая орехи, должно быть прошлогодние — они звонко кололись. Когда мы устроились, он зажёл «летучую мышь» и повесил рядом на гвоздь. Потом вынул из кармана лист бумаги.

— Вам завтра, так сказать, бич в руки. А курсов вы не кончали, тем более техникумов. Так что учитесь... Смотрите... Положим, это — стадо овец, вот... — Он нарисовал толпу кружков. — Вопрос: где быть вам? Вот вас трое... Если кто дурак, то вперёд стада помчится. Однако овцы не люди, полководцев им не надо. И не пытайтесь все плестись в хвосте, топтать овечий горох — распустите кудрявых. Нужно делать так...

Анатолий принялся старательно раскрывать «тайны» пастушества.

— Ясно? — спросил он, кончив, и заглянул нам в глаза.

Мы опустили голову и промолчали. Все его рассуждения туманом проползли мимо.

— Так-с,— протянул Анатолий. — Ну вот что, пресс-конференцию закругляю. Дуйте домой. Я тут одну дивчину поджидаю. — Он улыбнулся, столкнул нас с крыльца и задул фонарь.

— Вот тебе и чай пить,— вздохнул я.

Мы побежали по улице навстречу луне, которая висела в конце деревни.

А утром мы впервые выгоняли стадо. С нами был



и Анатолий, но он держался в стороне, давая нам возможность делать всё самим. Шурка побежал открывать овчарню. Колька занял пост у входа в коровник, чтобы не пускать туда овец, а я остался за оградой, преграждая путь в переулок. Я волновался и, помахивая хворостиной, прислушивался к шуму, который, нарастая, доносился со двора. А когда овцы, словно горох на тарелку, высыпали на улицу, дружно блея и обгоняя друг друга, у меня к горлу подступил комок. Я вдруг решил, что сейчас они ринутся в переулок и втопчут меня в землю, до того неудержимой показалась мне эта волна из шерсти и мелькающих ног. Но овцы сразу же устремились к лугам.

С делом мы освоились быстро. Зря Анатолий мо-

рочил нам голову какими-то кружками и полководцами. Всё оказалось проще и интереснее.

Анатолий сиял.

Когда мы, усталые, загнав стадо, вышли со двора, он сказал речь:

— Вижу, обормоты, вижу — талантливые люди! Так и скажу тётке Дарье: талантливые, а то она за вас побаивается... То-то. Доверие — великая штука. Вот вам бич.

Это был шикарный бич: кожаный, десятиколенный, с медными блестящими кольцами. Он, как приручённая змея, спускался с плеча, и тяжёлый его хвост оставлял след в дорожной пыли.

Вздохнув, мы с Колькой уступили его Шурке как старшему.

Подкатила председательница. Привезла доярок.

Анатолий живо рассказал ей про нашу врождённую хватку пастухов. Тётка Дарья улыбулась:

— Я так и знала... Ты, Анатолий, завтра — на поля.

— Есть, — неожиданно козырнул по-военному Анатолий. — Я вчера литовочку уже отбил.

— Садитесь, миленькие, я вас до дома подброшу... Но-о, кляча.

Мы это любили — «подбрасываться». Ради «подброски» мы спокойно проезжали мимо своего дома, чтобы дольше чувствовать дробное дрожание телеги, чтобы видеть, как под пятками мелькает дорога, и кажется, что едешь не ты, а вертится земля.

— Сегодня не вышел в поле Тихон Мезенцев, — сказала не то себе, не то нам тётка Дарья. — Надо заехать узнать.

Мезенцевы не были коренными жителями Кандаура. Они, как и мы с мамой, обосновались здесь в начале войны. Дядя Тихон был нездоров. Ему бы-

вало то лучше, то хуже, но он работал наравне со всеми. Близко мы его не знали, но при встречах здоровались с ним, и он нам хмуро отвечал кивком, а в последнее время и кивать перестал.

У домика Мезенцевых председательница остановила Грёзу и вошла в дом. Её долго не было, наконец она стремительно вышла, красная и, кажется, раздражённая.

— Царица небесная, что творится на белом свете?!

Распахнулось окно, из него высунулась косматая голова дяди Тихона.

— Убирайтесь ко всем чертям и оставьте меня в покое! — прокричал он хрипло, тяжело закашлял и уткнулся лицом в горшок с цветами.

Мы сидели в телеге подавленные. Против своего дома я спрыгнул, не попрощавшись с друзьями.

Среди мальчишеских забот и увлечений мы забывали о том, что идёт война, что живётся трудно. И вдруг какое-нибудь одно слово или жест грубо напоминали об этом, и сразу исчезала безмятежность, и в мыслях становилось как-то тревожно. Я всегда в такие минуты вспоминал папу, его портрет, висевший над моей кроватью.

Вот и сейчас. Я лежал с мамой. Я только что рассказал ей о Тихоне Мезенцеве.

— У человека слабая душа. Но ничего, он отойдёт, он уже второй раз теряется... Война — это проверка людям: и большим, и малым. И если они оказываются сильными, они побеждают и здесь, и там...

Разговор мог пойти о папе, и мы замолчали, чтобы не бередить друг друга.

— Мама, мы завтра гоним стадо одни. Шурка ружьё берёт. Патронов нету, но ружьё поправдашнее.

Мама улыбнулась — её щека шевельнулась у ме-

ня под рукой. Но я знал, что она всё равно думает о папе так же, как и я, и так же, как и я, чувствует отцовский взгляд, устремлённый на нас с невидимого в темноте портрета.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Я проснулся, сел в кровати, быстро проморгался и, соскользнув на пол, выскочил на крыльцо.

Солнце только что выкатывалось из-за расплывчатой кромки тайги. Оно не ослепляло, и на него можно было смотреть долго-долго, как на уголёк. На окнах полыхал отражённый восход.

Холодок добрался до сердца, я вздрогнул и юркнул в избу. Мама уже не было. Удивительно, как это она так рано поднимается каждый день. Неслышно протапливает печь, готовит еду и уходит. Она не будит меня, чтобы растолковать, чем мне питаться без неё. Я сам знаю это. Я пошарил рукой в тёмном зеве печи и вытянул сковородку. Жжётся. Прихватил тряпкой. На столе, возле пепельницы, чистой со дня ухода папы на фронт, увидел записку. Сажными руками схватил её, поднырнул под штору и уселся на подоконник. Я кончил второй класс, но мама по привычке или в шутку написала мне печатными буквами. «Миша, сегодня в клубе постановка, ты играешь! — напомнила мама вчерашнюю новость.— Пригоняйте стадо пораньше. Мама». А ниже добавила: «Может быть, от папы придёт письмо».

Письмо! Я откинул штору и взглянул сквозь комнатную серость на портрет. У папы большой нос. Мама говорила, что он на семерых рос, а одному достался. И хорошо, что одному. С другим носом папа выглядел бы смешно. Волосы у папы густые и длин-

ные. Тоже, наверное, на семерых росли. В углу лба — шрам, уходящий в волосы, как тропинка в лес...

Папа, папа! Как ты там?..

Мы — ничего. Мама работает. Я пасу овец. Ты ведь не знаешь, что я пасу... У меня есть хорошие друзья — Колька и Шурка...

Я спохватился и торопливо соскочил с подоконника.

Картошка, жаренная с луком, приятно пахла. Картофельный хлеб я отодвинул. Потерплю день. Сегодня начиналась уборочная, значит, завтра будет настоящий хлеб. Тётка Дарья обещала нам первую корочку — заработали, как-никак пасём вторую неделю.

Во дворе раздался треск, точно там били пистонки. Это Шурка щёлкал бичом — звал меня. Миг — сковородка опустошена, второй миг — я одет, третий миг — здороваюсь с друзьями.

Большеголовый Колька был вровень с Шуркиными плечами. Он улыбался неизвестно чему. Шурка был хмурым.

— Эти-то, «спаянные кишочки», спят, поди,— проговорил Колька.

— А чего же им делать. Спят,— подтвердил я.

Но неожиданно дверь Кожиных открылась, и вышел Толька. Увидев нас, он остановился, но тотчас сбежал с крыльца и скорым шагом направился в дом напротив, наверное, за молоком.

— Кожиha, должно, болеет. Во дворе её что-то не видно,— сказал я.

Мы шагали рядом и в ногу. Шурка — в сапогах с раструбами. Правда, раструбы эти он пришил и вкривь и вкось, но впечатление чего-то необыкновенного они производили. На моих ногах болтались лёгкие сандалии, а Колька был босиком. Он нёс ружьё.

Настоящее ружьё: железный ствол и затвор. Оно было тяжеловатым для него, мы чувствовали. Но Колька не признавался.

— Чтоб мне с кедра свалиться, не тяжело! — клялся он. И в доказательство пытался удержать ружьё на вытянутой руке, и удерживал, перекосив вздрагивающее от напряжения лицо. Зато после с удовольствием швыркал носом и гордо закидывал ружьё за спину, сбивая прикладом кожу на пятке.

— Я вчера у «спаянного кишочка» видел какую-то штуковину, — заговорил Колька с передыхом. — Он зажмёт её между ладоней да как крутнёт — она, чисто чертёнок, вверх ж-ж-ж... Потом упадёт, а он снова ж-ж-ж...

— Известно, городские. Понавезли всяких заводных хитростей и вытворяют, — рассудил я. — А что, так и взлетает?

— Пряма так и ж-ж-ж... Выше крыши!

Навстречу нам, громыхая по неровностям дороги, катила телега. Мы издали узнали Грёзу и тётку Дарью, стоя правившую кобылой.

— Опять остановится, — буркнул Шурка, выкидывая вперёд бич.

С тех пор как мы пасём овец, не было случая, чтобы председательница, завидя нас, не притормаживала, не спрашивала, каковы наши дела. Нам случилось трижды сталкиваться с ней за день, и трижды мы отвечали, что дела наши идут как по маслу.

— Тпр-ру-у-у... Миленькие мои, — воскликнула тётка Дарья, спрыгивая с телеги и одёргивая юбку. — Вы хоть высыпаетесь?

— Высыпаемся.

— То-то... А втроём вы справляетесь?

— Да мы и вдвоём, без Мишки, справились бы, — важно сказал Колька.

— И без Кольки тоже бы уладили,— заметил я.

Тётка Дарья рассмеялась. Потом порывисто нагнулась, чмокнула Шурку в щёку, прыгнула на край телеги, так что телега накренилась, как лодка, черпнувшая бортом, и крикнула:

— Но-о, Грёза!

Кобыла не сразу тронулась с места. Она только останавливалась быстро, а ход набирала долго.

— Э-э,— спохватился Колька.— Забыли спросить про хлебные корочки. Стряпухи, поди, зашевелились в пекарне. Ох и хлеба хочется!

И живо перед глазами возникли коричневые булки, припудренные золой и лопнувшие по краям. Мы особенно любили эти треснувшие корочки, в них меньше мякоти, и когда жуёшь — сплошной хруст.

Из подворотен, на миг застревая в щелях, вылезали гуси, хлопали крыльями, шумно гоготали и, разбежавшись, пролетали несколько метров. Потом садились, переворачиваясь через голову, и, отряхнувшись, строем направлялись в луга.

Скотный двор угадывался издали по тёмным кучам навоза.

Когда мы подошли, сторож запирает ворота. Только что пастухи угнали коров, ещё доносилось голодное мычание.

— Дед Митрофан, вот и мы, не запирай...

Старик оглянулся.

— А-а...

— Мы,— зачем-то повторил Колька.

Дед лукаво поглядел на него.

— Вот ты, босалыга, ружьишко-то таскаешь, а тятка придёт с фронта и вроде как с претензией к тебе, а то и всыплет.

Шурка взял ружьё и тихо ответил:

— Пусть бы всыпал, только б вернулся.

Дед на минуту задумался, спрятав пальцы в бороду и глядя на Шурку, потом спохватился и живо забормотал:

— Ну, зачинай... Выпускайте... Да, хлопцы, там одна овечка прихрамывает, чёрненькая, с рваным ухом. Приглядите за ней.

Мы пошли через конюшню, чтобы оттуда проникнуть в овчарню и открыть её изнутри. Лошадей здесь не было давно. Летом только в ненастье их заводили в стойла. Из кормушек торчала сухая трава.

— Игренька, говорят, на борону напоролся,— сказал я.— И кишки вывалились. Кишки ему обратно в брюхо засунули, а дыру соломой заткнули.

Ребята ужаснулись.

— Враньё,— раздалось вдруг из угла, и мы вздрогнули от неожиданности.

Из мрака вынырнул Анатолий с хомутом на шее.

— Чинил этот галстучек. Какой-то пройдоха супонь обрезал... Про Игреньку врут. Он просто ляжечку поцарапал и курортничал два дня, а сегодня его определили на зерно. Чуете, на зерно! Звучит? Ну, а как ваши делишки? Овцы не забодали?

Он достал складень и начал обрезать что-то у хомута.

Наши взгляды перекрестились на складне, который блестел даже здесь, в сумраке конюшни. Кто из нас не хотел бы иметь такую штучку?

Хоть Анатолий мне и брат, но родственные чувства в нём спали. Я сколько раз говорил ему, что взрослым ни к чему складень, он пропадает без пользы, а мальчишке он мог бы здорово пригодиться. Анатолий будто не понимал моих намёков.

— Вот так, теперь порядочек... Ну, обормоты, будьте целёхоньки. Помните пресс-конференцию.— И, ущипнув меня за бок, он пошёл к выходу, длин-

ный, похожий на шуку, и в сапогах, густо смазанных дёгтем.

Овцы встретили нас разноголосым блеянием, словно умоляли скорее выпустить их на свободу. Один баран даже поднялся на дыбы, стараясь рогом сдвинуть засов.

— Что, родные, подтянуло, — жалел Шурка, раздвигая бичом морды и пробираясь к выходу. Кепка на его голове сидела задом наперёд, как Иван-дурак на небесной кобылице, и от этого Шурка был забавным. Он еле-еле оттянул тяжёлый скрипучий чурбак и, навалившись всем телом, раздвоил громоздкие двери, впуская свет и свежую прохладу солнечного утра.

Овечий поток легко подхватил нас и вынес во двор.

Ослеплённые, шурясь, овцы засеменили к воротам, продолжая блеять, но уже без надрыва, не для нас, а обрадованно, для себя.

Колька заскочил на какого-то барана, и тот смиренно повёз его. Шурка щёлкал бичом над овечьими спинами и кричал:

— Пошли... Пошли...

У сторожки стоял дед Митрофан и протяжно ма-нил:

— Бя... ша, бя... ша.

Я шагал сзади, оглядывая двор.

У строений прел навоз, загнивали стены. Крыши прогнулись, как худые лошадиные хребты; казалось, брось камень — и переломятся. Весь двор выглядел очень скучно, неприглядно. Каково торчать тут скотине, недаром же она так ожесточённо рвётся на зелёные поля.

Зато воробьи жили здесь припеваючи: и гнездились, и кормились. Утрами, греясь на солнце, во-

робинные полчища рассаживались на берёзовых жёрдочках под навесами соломенных крыш и следили за хлопотами пастухов.

Хромую овцу мы заметили сразу. Она толклась в середине стада, и при каждом шаге голова её порывисто подскакивала.

Шурка подошёл к сторожу:

— Деда, может, Хромушку оставить?

— Та за каким лешим. Там пустячишка...— Дед махнул рукой, дескать, проваливайте.



И мы погнались.

Увидев Чертилу, дед погрозил ему сухим кулаком:

— Я тебе, лешак, вернусь!

Чертило убегал и от нас и продолжал воевать со сторожем. Деду пора уж было примириться с норовом Чертилы, но он, как маленький, не унимался и пытался выпроваживать барана со двора. Безуспешно. Баран отлично знал, что делал, и на каждую дедовскую уловку отвечал своей уловкой, более хитрой.

Овцы на ходу щипали траву у плетней, из-за которых торчали плоскоголовые подсолнухи и свешивались усатые тыквенные плети с пустоцветами.

Сразу за деревней начинался Мокрый лог. Вообще, это был не лог, а пологий склон огромной низины, на берегу которой раскинулся Кандаур. Овцы знали, что там хорошая трава, болотная прохлада и заросли тальника, где можно приятно поплутать и почистить зубы горькими листочками. Они развернулись и цепочками начали спускаться по глубоким коровьим тропам.

По пригорку тянулся Клубничный березняк — редкий подлесок, где мы всегда собирали ягоду.

— Мишка, смотри — тележка! — крикнул Колька, рукой указывая в сторону кустов.

Около тележки я заметил двух девчонок, ломавших с молодых берёзок ветки, очевидно, для веников на зиму. Я остановился, тихо свистнул, чтоб привлечь внимание. Они повернулись, и я узнал дочерей дяди Тихона.

Шурка крикнул, чтобы я припугнул оставших овец, и я побежал вниз, шурша ногами по траве и сбивая кузнечиков. Они, глупые, запрыгивали в сандали.

Стадо разбредлось по поляне. Овцы двигались медленно и, не поднимая голов, щипали траву. Изредка некоторые шарахались в сторону, выпучив глаза. Это лягушки подскакивали у них под самым носом.

Колька шумел в тальнике, гоняя птиц и бурундуков. Мы с Шуркой уселись на кочку, пригрозив Чертиле, потому что он уже начал пятиться.

Я задрал голову. Небо было такое чистое и гладкое, будто его только что выстирали и, расправив, вывесили, а солнцу приказали: катись, суши. И оно катилось. Всё это так живо представилось мне, что я даже протянул руку, будто хотел пощупать — не мокрое ли оно.

— Шурк,— сказал я,— погляди: небо-то какое!

Но Шурка не услышал. Он как-то печально смотрел в землю и даже не моргал, точно заколдованный.

— Шурка, ты что? — спросил я.

Он, не повернувшись, тихо ответил:

— Нюська у нас заболела, наверное, умрёт. Врачиху вчера вызывали. Она пощупала-пощупала её и говорит: «Усилить питание». Будто мы и без неё не знаем, что надо усилить питание. Тоже...— Шурка встал и зло щёлкнул бичом.— Гляди, куда стадо упёрлось.

Стадо вовсе не упёрлось, а было рядом. Шурка это сказал нарочно. Ему хотелось громко говорить, кричать на кого-нибудь, а может, плакать.

Из кустов вынырнул Колька и припустил к нам, оглядываясь назад, будто ожидая погони. Когда он хотел спросить про что-нибудь, то кричал прямо из тальника, а тут бежал, задыхаясь, молча да ещё оглядываясь. Заинтересованные, мы замерли, поджидая его.

— Там кто-то есть,— полушёпотом проговорил он, обдавая нас огуречным запахом. Очевидно,

Колька уже успел ополовинить свой дневной запас огурцов и картошки, охрану которого доверял только собственной пазухе.— Сучья трещали... Медведь, наверное.

— Где? — оживился я.

— Вон там.— Колька неопределённо махнул рукой.

Но тальник был всюду густым без разрыва, там и стадо медведей не разглядишь.

— Почудилось тебе,— равнодушно решил Шурка.— Медведь...

— Почудилось... Скажешь тоже... Сучья-то сами не ломаются, и овцы так не бродят... Кто-то есть... Чтобы мне с кедра свалиться.— Его взбудораженный взгляд перескакивал с моего лица на Шуркино.

Шурка улыбнулся:

— погоди, ещё свалишься.

Колька отступил. Но я чувствовал, что тревога в нём не угасла: он вздыхал и косился на заросли.

Я побежал завернуть овец, высоко забравшихся на бугор. Они могли через Клубничный березняк проникнуть в пшеницу.

Хромушка паслась в конце стада. Она уставала прыгать на трёх ногах и порой припадала на брюхо, лёжа пощипывая траву. А когда всё выедала рядом и тянуть морду дальше не было возможности, Хромушка рывком поднималась и с прискоком переходила на новое место. Ноге, видно, становилось хуже. После обеда придётся оставить овечку на скотном дворе, пусть её осмотрит коровий фельдшер.

Когда я вернулся, Колька неожиданно спросил:

— Мишка, ты бабу-ягу видел?

— Кого?

— Бабу-ягу.

— Где я её увижу, когда, может, её вовсе нет...

Колька что-нибудь да придумает. То почему человек не несётся, как курица, то — эх бы выросли у телеги крылья... То вот нечистую силу зацепил.

— И я не видел. А вот один наш лётчик видел. Летел он в бой и вдруг услышал, кто-то скребётся в кабину. Глянул — баба-яга! Рожа сплюсненная, руки как ухваты и с когтями. «Пусти, говорит, сыночек». А лётчик ответил: «Иди, говорит, бабушка, к чёртовой матери». Она зубами заскрипела и отстала. А он развернулся да из пулемёта — ррраз... Баба-яга обернулась фашистским самолётом и задымилась! — Колька взметнул руки с растопыренными пальцами, изображая клубы дыма.

— Враньё,— подытожил я его рассказ.

— Зато сам придумал.

— Дурак ты, Колька,— беззлобно произнёс Шурка.— На-ка лучше бич, понужни барана.

Шурку не покидала хмурость. Он, наверное, всё время думает про Ньюську и про тятку. Хорошо, хоть дядя Филипп часто пишет домой: жив, здоров, колотит фрицев. А вот нам папка прислал всего три письма, и больше — ни звука. Ломай тут голову... Его, конечно, не убили, но могли ранить или ещё что-нибудь, мало ли что может случиться на войне... У Кольки отца нету. Он, подлец, бросил их, когда Колька впервые выговорил: «Тятя». Зря только старался.

К полудню животы у овец разбухли, они обленились и еле-еле двигали узловатыми ногами. Солнце пекло вовсю, и скоро, сытые и разомлевшие, они растянулись в тени кустов, часто дыша и прищулив глаза.

Мы тоже спрятались от жары, опрокинувшись на спины, притянув к лицам пахучие ветки и щекоча ими щёки, нос и лоб.

В небе висели редкие облака, круглые и белые, как одуванчики. Они не двигались совершенно, точно привязанные. Тень одного из них лежала недалеко от нас. Несколько овец отдыхало на этой необыкновенной подстилке. Над ними недвижно, словно чучело, возвышался Чертило — он не любил лежать. Стояла такая тишина, какая бывает ночью, когда не кричат петухи и когда не видишь даже снов.

Колька, жуя берёзовый листок, спросил:

— Если топор на облако зашвырнуть, удержится он там или шлёпнется обратно?

Я ответил:

— Конечно, шлёпнется.

— Это вон с того, с дырявого, — согласился Колька. — А вот с этого, целого?

— И с этого шлёпнется. Только нет такого человека, чтобы он топор на облако закидывал.

— А почему не слышно, как на войне стреляют?

— Потому что далеко.

— А если из самой-самой большой пушки бабахнуть, то будет слышно?

— Если из самой большой, то, наверное, будет.

— А чего ж тогда не стреляют?

— Значит, нету таких пушек.

Опять тишина.

И вдруг где-то рядом раздался дикий крик, точно кто-то решил порвать себе горло или вывернуться наизнанку. Стадо всполошилось, а мы, будто ваньки-встаньки, мигом очутились на ногах и, онемелые, испуганные, вдавились в рыхлый кустарник, прячась от чего-то неизвестного, но ужасающего.

Крик ослабленно повторился и оборвался хрипом и бульканьем.

— Овечка! — быстро выдохнул Шурка и побежал по склону вниз, откуда доносился крик.

Мы молча последовали за ним. Я спохватился: Хромушка! Ведь мы совсем забыли про неё, и она, должно быть, застряла где-нибудь в кочках или корнях и орёт: долго ли на трёх ногах-то закапкаться.

И правда. Под кустом, шагах в десяти от нас, в том месте, где начинались сплошные тальниковые заросли, лежала Хромушка. Она судорожно билась и урывками вскрикивала, потом вдруг запрокинула голову, перекатилась на спину, как играющая лошадь, и мы увидели нож, торчащий из-под оттопыренной ноги.

Мы с Колькой оторопели, а Шурка, волоча за дуло ружьё, кинулся к ней и выдернул нож. Хромушка резко передёрнулась, подняла морду, посмотрела на нас широко раскрытыми слёзными глазами и снова бессильно уткнулась в траву.

Только сейчас мы сообразили, что Хромушку за-резали.

Шурка бросил нож, на котором запеклась ленточка крови, и медленно повернулся к нам.

Я украдкой, стараясь не шуметь, подошёл к нему. Колька — тоже. Мы насторожённо огляделись и увидели...

В тальнике стоял человек, высокий и тёмный. Густота зарослей и солнце, бившее прямо в глаза, мешали разглядеть — кто же это. Он не двигался и, казалось, тоже был ошарашен всем происшедшим. Мы почувствовали, что он в упор смотрит на нас, и дрожали. Шурка подтянул ружьё и направил его в человека.

Под напором четырёх взглядов: трёх человеческих и одного дульного — фигура метнулась от нас, точно падая на спину, и, подминая и раздвигая кустарник, скрылась в сырой его глубине. Только шум



ветвей и листьев, будто порывы ветра, не смолкал несколько секунд.

— Леший! — выдавил из себя Колька, хватаясь за мою рубаху.

Мы стояли немые и окаменелые. Потом Шурка, опустив ружьё с так и не взведённым курком, посмотрел на нож, валявшийся в траве, и сказал:

— Сапожничий.



Оцепенение исчезло. У меня тряслись поджилки. Колька, округлив глаза и рот, прислушивался, двигая головой.

За нами сгрудилось стадо. Овцы шарахались из стороны в сторону, сжимаясь к середине. Они понимали опасность и теснились к нам, пастухам, своим хозяевам и защитникам. Чертило стоял рядом и не отрываясь, удивленно смотрел на Хромушку. Овечка

была жива, она изредка дёргала хвостом и чуть-чуть приподнимала голову. На ране вздулся багровый сгусток крови.

— Погнали домой,— хрипло от сухости в горле произнёс Шурка.— Где же бич? Колька, слетай за бичом, будешь сзади...

— А Хромушка? — спросил Колька. Он всё ещё не раскруглял ни глаз, ни рта. От него так и несло испугом и удивлением.

— Мы с Мишкой попрём её на себе, попеременке...

— Вы не допрёте,— усомнился Колька.

Но Шурка грубо перебил его:

— Ищи бич... Мишка, ну-ка, подсоби мне...

Он присел на корточки, подставляя спину. Я со страхом косился на заросли. Мне было боязно. Мне хотелось без оглядки удрать в деревню, где вокруг добрые избы и огороды, где всё знакомо от первого гуся до последней собаки. А тут...

На Шуркиной спине, туго обтянутой рубашкой, сбегаящими бугорками вырисовывались позвонки. Я обхватил овечьи ноги и с трудом приподнял её зад.

— Ну,— нетерпеливо буркнул Шурка.— Шевелись.— Он ждал, когда я навалю ему на спину овечку.

— Не могу,— прошептал я, разжав руки и чувствуя, как слёзы подкрадываются к глазам.

Шурка зло обернулся:

— Не можешь... Ну-ка, подставляй свою горбушку...

Я подставил. Шурка завожился, неровно дыша, засопел, напрягаясь. А когда вдруг сплюнул и затих, я понял, что он отступился. Я повернулся. Шурка сидел на траве, окровавленной ладонью потирал лоб,

оставляя красные пятна, и тупо смотрел на Хромушку. Бока её еле-еле поднимались, глаза были закрыты.

Подбежал Колька.

— Я же говорил: не допрёте... Её надо к Чертиле привязать. Он, дурак, всё одно домой рвётся, вот и пусть покряхтит.

Шурка поднял глаза:

— Точно, надо попробовать.

Чертило, будто почуяв заговор, с оглядкой подался в кусты. Но Колька повернул его, подгоняя к нам.

Баран увёртывался, грозя своим страшным лбом, но грозя как-то не по-настоящему, словно понимая, что грозить по-настоящему ребятишкам нечестно даже по бараньим меркам. Поэтому я вдруг осмелел, кинулся на него и вцепился ему в рога. Чертило пихнул меня мордой в живот и опрокинул, наступив на ногу. Я вскрикнул, выдернул ногу, но рогов не выпустил.

— Держись, Мишк! — подбодрил меня Шурка. — Сейчас мы его самого привяжем!

Он подскочил к барану, сунул в завитки рогов кнутовище и обмотал бичом. Втроём, закусив губы и обливаясь потом, мы притянули его к берёзке и накрепко прикрутили к ней баранью голову.

Но не было верёвок для привязи овцы: бич-то использовали... Шурка выдернул из штанов ремень и коротко бросил Кольке:

— Сымай свой.

Но у того — только лямка, одна-единственная, наискось, как пулемётная лента, пересекавшая грудь, и он так рванул её, что вместе с лямкой выхватил кусище материи, а штаны мигом юркнули вниз.

Надрываясь, мы приподняли обмякшую Хромуш-

ку и перевесили её через баранью спину. Чертило глухо блял, вертел задом и неуклюже подскакивал.

Шурка, озлобившись, свирепо умирал его пинками, приговаривая:

— Ты будешь стоять, тетеря дохлая... Будешь?

Колька почти подлез под баранье брюхо и копошился там, связывая овечьи ноги.

— Живей,— торопил Шурка.

Наконец ноги были связаны. Шурка распустил бич и выдернул кнутовище из рогов.

Чертило сперва метался, даже заваливался на бок, но мы его поднимали и гнали вперёд. Шурка подстёгивал овец, а мы с Колькой поддерживали на ходу Хромушку, которая всё время сползала с бараньей спины.

Тревога наша потихоньку унималась. И когда мы подходили к деревне, чувства боязни уже не было, а были просто беспокойные мысли и слабость в теле.

Чертило умирался. Подойдя к скотному двору, он привычно двинул в ворота лбом и присел, изнемогая, на задние ноги.

— А... Опять припёрся...— донёсся голос деда Митрофана, и тотчас появился он сам с палкой.— А, это вы, босалыги. Чисто кошки подкрались...— Тут сторож увидел припавшего на зад Чертилу и окончательно съехавшую в сторону овцу.— Нешто захворала? — спохватился он.

— Её зарезали...

— Не мелите,— прошептал дед Митрофан, пружинисто приблизился к Хромушке и наклонился.— А... Мать честная...— Он вдруг шмыгнул в сторожку, тут же вернулся с ножом, и не успели мы открыть рта, как дед пиратским взмахом полоснул овцу по горлу, и тяжёлая голова её откинулась, будто на шарнире.

Кровь слабой густой струёй потекла на пыльную землю, каплями удерживаясь на бараньей шерсти.

— Чуть не пропала... А тут хоть мясо в пользу пойдёт.

Я был поражён дедовской выходкой. Я опять задрожал. И пока Колька с Шуркой освобождали Чертилу и загоняли овец, я бессмысленно глядел на распростёртую у проходной Хромушку. Она уже не дёргала хвостом и не пыталась поднимать морду, она была неживой... Я глотал комки, подступавшие к горлу.

— А ну, бери за ноги! — крикнул мне дед.

— Я уже брал... Не бралось...

Подоспели друзья, и Хромушка, податливая, как тесто, на руках перекечевала в сторожку.

Мы вышли и, задумавшись, стали в тени.

— Вы не морщиньтесь. У нас ране целыми стадами вырезали. Налетит шайка на лошадях, пастухов свяжут и зачнут шерстить. Потом воронья на этом месте черным-черно... А кто Хромушку-то пырнул?

Я рассказал деду, как мы услышали крик, как бросились в кусты, как увидели раненую Хромушку, а в кустах — человека, как Шурка навёл на человека ружьё и как тот ошалело шарахнулся от нас, удирая в глубь зарослей. А кто он — об этом мы даже как-то не задумывались.

— Это разбойник! — сказал я.

— Да,— живо подхватил Колька.— Разбойник! Их, наверное, на болоте целая шайка.

— Шайку давно бы заприметили,— промолвил Шурка.— А вот один...

Мы задумались, а дед Митрофан произнёс:

— Разбойник-то оно разбойник, а я вот прикидываю, не наш ли это супостатишка.

— Как наш? — удивились мы.

— Обнаковенно, наш, деревенский.

— Что ты, дедушка! — замахали мы руками и весело переглянулись между собой: мол, дед-то что придумал.

Дед Митрофан искоса посмотрел на нас, двинул бородой в сторону и сказал:

— Всяко может статься.

Конечно, дедушка ерундит. Деревенский! Кто же это, интересно? Может, Анатолий? А может, тётка Дарья? Смешной дед, придумал тоже! Это — бандит!

— За это в тюрьму могут сунуть аль ещё как, — сказал дед.

— Сунь его теперь. Он уж, поди, полсогры¹ отмахал.

— Вот то-то.

— Нам теперь достанется... Мол, упреждали, не послушали, вот и расхлёбывайте, — проговорил Шурка.

Дед замахал руками.

— А вы-то что? Вы своё дело сделали, стадо убергли. Мальцы, мальцы, а молодцы! А вот как быть дале, надо прикинуть.

Мы начали соображать.

Всё вокруг — и скотный двор, и дома с задёрнутыми шторками, и подсолнухи, приподнявшиеся на цыпочки и повесившие свои шляпы на плетень, — всё как будто размышляло вместе с нами: что делать?

— Надо вызвать отряд милиционеров с пулемётами и прочесать тальник. Может, это — фашист. Мало их забрасывают на парашютах! Вот они и шатаются голодные, как волки, кто же станет кормить фашистов. Тут без милиционеров не обойдёшься...

Дед Митрофан перебил Кольку:

¹ Согра (сиб.) — болотистый лес.

— Минцанеров... У нас ведь всего один минцанер, и тот нынче на покосе... Надо тётку Дарью разыскать, она в обязательности скумекает, какие такие жульничества, и без пулемётов... Ишь вояка.

Шурка сказал:

— Правильно, надо найти тётку Дарью. Вы дуйте ищите, а я Ньюську пойду попроведаю.

И он, не оглядываясь, перевесив бич через шею, пошёл домой.

— Дедушка, а нам-то куда? — спросил Колька.

— На поля. Где же сыщешь тётку Дарью? — И дед ушёл в сторожку, откуда тотчас донеслось шорканье ножа о брусок.

На поля! А сколько их, полей-то! Это с одной стороны деревни — болота и тайга, а с другой — сплошные поля.

Прямо у правления начинаются четыре полевые дороги и куриными пальцами разбегаются в разных направлениях. А от этих дорог оттопыриваются дорожки, как сучья от ствола дерева, а от дорожек стреляют в кусты ещё тропинки-веточки. Вот и думай, куда кинуться. Тётка Дарья, конечно, где-нибудь у тропинки-веточки литовкой машет, найди её попробуй...

Но нам не пробовать надо было, а искать. И мы двинулись по одной из дорог, надеясь встретить кого-нибудь и расспросить.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Колька шлёпал босыми ступнями, оставляя за собой пыльный хвост. Его ноги до колен покрылись серым налётом. Я шёл по краю, где пробивалась трава. Пыль была и здесь, но она не клубилась.

Дорога изгибалась, кустарник подступал то с одного бока, то с другого, поэтому видеть далеко вперёд было нельзя, да и в стороны не особенно заглядишься.

Сейчас все или на Дальнем таборе или на Первой гари. Эта дорога вела нас на Первую гарь, где прошлый год бушевал пожар.

Из-за поворота показалась упряжка.

— Игренька! — воскликнул Колька, и мы с гиком припустили навстречу.

Игренька шёл не спеша, но свободно, без натуги, и нельзя было понять, тяжесть ли он везёт или идёт порожняком. Грудь у него широкая, со вздрагивающими шарами мускулов, шея тугая, гибкая, со сбившейся на одну сторону гривой.

— Игрень! — Подбежав, Колька повис на оглобле, остановил коня и начал возбуждённо похлопывать его по морде. — Здоров, Игренья. А тут про твои кишки чего-то болтают. Врут!.. Ах ты мордастый!

Я зашёл сбоку и на задней ноге коня, ближе к животу, увидел свежий шрам, уже подёрнувшийся красной сухой коркой, вокруг которого вились постылые мухи. Игренька, не переставая, обхлёстывался хвостом.

— Колька, вот где борона царапнула.

— Кто вы такие: разбойники али самашедшие? — раздался чей-то голос.

Обрадованные неожиданной встречей с Игренькой, мы не заметили тётю Фиктю, сидевшую на бричке. Она смотрела на нас нарочно строго и удивлённо, будто видела впервые в жизни. Голова её была плотно обвязана белым платком, чтобы не попадала в волосы цепкая ость, рукава кофты закатаны по локоть.

— Ежели вы разбойники, то не трогайте душу

грешную, а ежели самашедшие — дай вам бог ума-разума... Вы чего, шпингалеты, мечетесь по дорогам да на лошадей кидаетесь?

Было в её лице что-то анатольевское: быстрое движение бровей, причём брови могли сойтись совсем и тут же разметнуться в стороны так далеко, что казалось — теперь уже они никогда не сдвинутся.

Но они опять сходились, прямо сталкивались.

— Тётя Фиктя,— спросил я,— вы тётку Дарью не видели?

— Дарью?.. У пасеки она. Фёдоров комбайн заглох. Она там порядки наводит...

— Ура! Кольк, понеслись!

— Сейчас! — Колька вскарабкался на бричку. — Зерно! Мишка, зерно! Лезь сюда! — воскликнул он, плашмя бросаясь на пшеницу и зарываясь в неё лицом.

Я тоже запрыгнул на бричку и радостно уселся на зерно, чувствуя его упругую мягкость. А Колька уже двигал челюстями, нахрустывая.

— Наскучались, бедненькие... Ничего! Вынесем!.. Ноги-то не суйте, на мельницу везу... Понимаете, ока-янные души, на ме-ельницу! — гордо сказала тётя Фиктя, но тут же потупила взгляд, столкнула брови, потом спросила: — Миш, помнишь мельницу-то?

— Помню,— ответил я.

— А тёзку своего, дядю Мишу, помнишь?

Ещё бы! Дядя Миша — муж тёти Фикти. Он работал мельником и вечно был, как снеговик, белый. Он часто брал меня, уже большого, на руки и подбрасывал под потолок и смеялся... Сейчас дядя Миша — на фронте, изредка присылает письма, мы с мамой приходили читать их. Мама с тётей Фиктей обычно после читки всплакивали, а я вместе с девочками,



сёстрами Анатолия, вертел письмо в руках и старался отыскать в нём что-то большее, чем просто слова.

— Помню,— сказал я.

— Да-а,— протянула тётка Фиктя задумчиво.— Выдюжим! Так ведь, ребятки? — Она серьёзно улыбнулась и развела, точно расцепила, брови.— Ну будет вам копошиться, вытряхивайтесь, дело не ждёт...

Мы схватили по горсти пшеницы и спрыгнули. Тётка Фиктя дёрнула вожжи. Игренька легко взял воз, и скоро они скрылись за поворотом.

Тут я спохватился, что не рассказали мы про Хромушку — зерно и конь нас как-то отвлекли.

— Ладно,— махнул рукой Колька.— Всё одно узнает.

И, жуя на ходу пшеницу, мы побежали к пасеке, которая ютилась недалеко, на склоне маленькой лошины.

Тётка Дарья была действительно там, и комбайн Фёдора действительно не работал. Тут же стояла полунагруженная мешками телега, и две девки сидели под пустым бункером на площадке, покачивая ногами.

Фёдор, тонкий и длинный, как шомпол, кричал, размахивая огромными кулачищами:

— Что я? Что я?.. Если бы я был шестерёнкой, я б прыгнул на вал и завертелся. А тут вот прыгай не прыгай, а пока не подвезут запчасть — стой! — Острый кадык, будто затвор, дёргался на его горле, грозя разрезать кожу.

— Царица небесная! — всплеснула руками тётка Дарья.— Ерьсь-то какую несёт, вы только послушайте.

Фёдор рассерженно перебил:

— Вот рассуждения у тебя, кажись, хозяйствен-

ные, а того понять не можешь, что это машина, железка. Ей душу не вплюнешь и не хлопнешь по плечу: вертись, мол, милая.

Мы застали уже конец разговора, но по тому, как вспотел и покраснел Фёдор, мы сообразили, что спор был горячим.

Тракторист выглядывал из своего окошечка и просто душно ухмылялся. Когда же председательница косилась на него, он втягивал голову внутрь кабины.

Нас заметили сразу. Тётка Дарья подалась вперёд и воскликнула:

— Миленькие мои, как вы тут?

— Тётка Дарья, тётка Дарья...— быстро заговорил Колька, но смолк и пихнул меня в бок.

Я, стараясь не спешить, рассказал о случившемся.

Председательница произнесла только одно слово:

— Вот! — и как-то поникла всем телом, точно до этого она была связана верёвками, а теперь эти верёвки разрезали.

Фёдор присел, посмотрел нам в глаза, перевёл взгляд на землю и проговорил:

— Что-то долго шестерню не везут...

— Кто-то мучается, растит, а кто-то...— Тётка Дарья вздохнула, потом решительно и быстро сказала: — Вот что, ребятки, бегите домой. Вечером посмотрим.

— А как же с овцами? Выгонять их?

— Да, да. Выгоняйте, не бойтесь, теперь не бойтесь.

Мы было повернули обратно, но тётка Дарья придержала нас:

— Стойте... Поди, голодные как черти. Забегите к Степанычу, пусть чашку мёду наложит.

Незнающий человек сроду не найдёт пасеку, коли случайно не наткнётся.

По краю лошины тесно селились берёзы, щекоча друг друга ветками. С любой стороны глянь — пустой околок. Да и путь туда неприметный — колея как две отдельные тропинки, а меж ними такая же трава, как и везде; заброшенная дорога, да и только. Вот по ней-то мы и побежали. Проскочив под берёзами, мы увидели пчелиную деревеньку. Солнце освещало маленькие безоконные домики, и они вырисовывались на светлой зелени, как игрушечные. Но этими игрушками владели пчёлы. Здесь было пчелиное царство. Тут уж не зевай, в два счёта вопьётся, и без шишки не обойдёшься. А говорят, от трёх укусов можно и умереть. Мы, крадучись, пробрались к избушке пасечника, полуврытой в землю.

— Тут пчёл нету? — шёпотом спросил Колька.

— Нету... Пчёлы за угощением к Степанычу не летают,— спокойно, не повернувшись к нам, ответил пасечник.

Он сидел на чурбаке перед тлеющим костром и строгал какие-то палочки.

— Деда, мёду нальёшь? — сразу выложил Колька.

Старик будто не расслышал. Поднёс к глазу рейку, прицелился в небо, пошоркал бока её пальцем и — опять за нож.

— Вы что же, трутни, по полям летаете? — подал наконец он голос.

— Я говорю: мёду бы нам,— повторил Колька.

— Аль дела нету? В бункер бы забрались, ногами б зерно к дыре пригоняли.

Колька удивлённо поднял плечи: оглох, мол, что ли.

— Дедушка, ведь мы пасём,— проговорил я.

— Кого? Свои тени?

— Овец...

Степаныч повернулся, неласково глянул:

— То-то, пасёте... Сейчас, выходит, обед?

— Обед.

— Ну да. И к Степанычу пришли обедать?

— Нет, мы тётку Дарью искали: сказать, что Хромушку зарезали.

— Кого зарезали? — тем же ровным голосом, только строже, спросил пасечник.

Мы рассказали обо всём и Степанычу.

Подумав, он спросил:

— Чего же вы не жахнули в него или хоть в воздух, раз ружьё было?

— Оно без патронов, — ответил я. — Были б патроны, мы бы не в воздух жахнули, а прямо как он стоял.

Дед ещё подумал, потом поднялся, стряхнул с колен лёгкие стружки, снял с гвоздя старую шляпу с сеткой и, надев её на голову, стал спускаться по тропинке вниз, где была кладовая.

Колька подмигнул мне и нырнул в сумрак избушки.

А я всё смотрел и смотрел на ульи, на берёзы, онемевшие от безветрия и солнца, и не мог насмотреться на этот уют и эту красоту. Приглушённое гуденье пчёл ровно разливалось по ложине и ни на миг не смолкало. Пчёлы то и дело пролетали мимо, прозвенев крылышками, некоторые садились на осину, росшую возле входа в избушку, и ползали по серым рубцам её коры. В метре от земли в дереве была вырублена большая лунка, откуда сочилась желтоватая жидкость и стекала по стволу к корням. Выше лунки торчали глубоко вбитые в древесину зубья от бороны. На них висели разные предметы: рамки для ульев, зубастая пила, ещё одна шляпа с сеткой, закопчённый котелок и какая-то длинная цветастая тряпка.

Как только бедная осина терпела такие издевательства? Она зеленела, будто не чувствуя на своём теле страшных железных заноз. Но я знал: долго она не протянет, зачахнут одна за другой ветки, и станет осина прозрачным голиком.

— Жалко? — раздался вдруг голос деда Степаныча. Он стоял рядом, похожий на водолаза из книжки.

— Жалко... За что её так?

Старик откинул на шляпу сетку и, ничего не сказав, прошёл в избушку. Я — за ним.

Колька что-то жевал, шаря глазами по стене, как вор.

— А... Мёд с сотами! — обрадовался он и живо схватил ложку. — Мишк, смотри: вот ружьишко так ружьишко...

На косяке висело ружьё.

— Такое же, как Шуркино, — сказал я.

— Прямо! Оно небось заряжено! На пасеку тоже могут напасть, да ведь, деда? Наелся бы тот бандит мяса и — сюда бы, медком закусить, да ведь, деда?

— Совались уж.

— О!

Мы подсели к чашке с мёдом. Соты таяли во рту. Сперва казалось, что не будет конца нашим жадным глоткам. Колька даже шепнул мне:

— Поскупился дед, всего полчашки наложил...

Но пятую ложку мы тянули в рот уже вяло, восьмую я вовсе не дотянул, но Колька осилил и восьмую, и девятую. До хлеба, который придвинул к нам пасечник, мы не дотронулись.

— Спасибо, дедушка! — сказал я.

— На здоровье, — ответил он.

— А остатки с собой можно? — спросил Колька. — У нас ещё один пастух есть — Шурка!

— Пусть сам придёт! Тут — до отвала, а на вынос не даю, — сердито буркнул Степаныч. — Ну, ступайте, а то пчёл натравлю!

Мы напились холодной воды и лениво вышли. Пасечник, вытирая руки о цветастую тряпку, хмуро кивнул на осину:

— Это не я её, до меня кто-то изувечил. — И снова уселся на чурбак.

Мы выбрались из лощины и скоро вышли на большую дорогу. Справа от неё дико чернели обуглившиеся деревья Первой гари, а слева утопал в хлебах неподвижный комбайн Фёдора. И вокруг на полный разворот — кудрявые околки.

Телегу с запчастью мы встретили на полпути к деревне.

Запчасть — маленькая шестерёнка — прыгала, как горошина, на подводе.

Девка, правившая лошадьё, то и дело отодвигала её от края.

— Вот дураки, такую пустяковину на телеге везут. Верхом бы уж давно слетали, — проворчал Колька.

Дошли мы быстро, хотя нога, пораненная бараньим копытом, ныла и я прихрамывал.

Шурка был уже на скотном.

— Вы будто телились, — упрекнул он. — Ну, нашли?

— Нашли. Тётка Дарья велела выгонять стадо. Вот.

Дед Митрофан кивнул головой и открыл ворота.

Овцы забыли о несчастье. Они решительно спустились в лог и принялись хватать траву.

Колька не шнырял по тальнику, а шёл вместе с нами, молчаливый и насторожённый. Дуло пустого

ружья устрашающе всматривалось в заросли. Овец мы туда не пускали.

— Вот тут,— проговорил Шурка, останавливаясь и наклоняясь.

Трава в этом месте была окровавлена и примята. Здесь лежала Хромушка. В двух шагах валялся нож. Колька поднял его, обтёр клочком травы и оглядел: да, обыкновенный сапожничий нож — скошенное острое лезвие, обмотанная грязной тряпкой ручка.

— Видно, до сердца не достал, короткий,— сказал Шурка.— Кто ж овец колет, их надо резать. Наверное, городской, бандюга.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Вечером, когда мы передали стадо деду Митрофану, я сказал:

— Ребя! Айдайте живее! Сегодня постановка в клубе! Мама сказала, что и я буду играть на сцене!

— Кого? — спросил Колька.

— Не знаю. Кого-то.

— Вперёд!

Шурка, задумчиво опершись на ружьё, произнёс:

— Я не смогу. Дома с Нюской буду сидеть, пусть мамка ходит, она уж сколько не была.

Мы не пытались отговаривать его. Да и как отговаривать-то, когда он прав.

— Шурк, а мы к тебе после забежим. А?

Он пожал плечами, и мы разошлись.

Мама была дома. Она что-то жарила. Я, глотая слюнки, приблизил к сковороде нос; лёгкая крышка подпрыгнула одним краем, и горячий пар фыркнул мне в лицо — картошка!

— А-а, пастушок явился! — почти пропела мама, спускаясь с крыльца.

После всех пережитых страхов и приключений, когда казалось, что жизнь обрывается, увидеть вновь улыбающуюся родненькую маму было так невероятно и приятно, что я бросился к ней с каким-то всхлипом счастья, обнял за пояс и жадно уткнулся в мягкие сборки платья, словно запоздало прячась от всего недоброго и мрачного.

Похлопав меня по спине, она повернула мою голову к себе и спросила:

— А почему хромаешь?

— Чертило наступил... Мама, мама, а ведь у нас...

— Знаю,— остановила она меня.— Дарью встретила.

Огонь плескался в печке, трещина на её чёрном боку вырисовывалась огненной росписью, как молния на фоне грозových туч.

— Теперь Кожиha затростит: «Я же говорила...»

— Зря ты так, сынок. Они хорошие люди... Кожины много пережили. Ты вот не знаешь, что такое война, а они под бомбёжкой были, смерть-то возле виска у них просвистела. Почернеешь поневоле... А вчера они ещё похоронную получили, отца убили. До ласковых ли им слов. Сама-то пластом лежит.

Мама говорила тихо, но я вздрогнул, услышав: похоронная. Я понимал это слово. Почтальонша выбегала заплаканной из дома, куда заносила похоронную. А в самом доме плач и причитания не стихали несколько дней. После люди ходили как тени, с синими кругами под глазами, безразличные ко всему.

Теперь понятно, почему Кожиha не появлялась в ограде, не выставляла стол: болеет. Витя с Толькой, наверное, утешают её, а сами небось швыркают носами... Надо же — убили... отца...

Я смотрел в скородку, и мысли, много мыслей, коротких и недодуманных, рождались у меня в голове и куда-то исчезали.

— Ну, пошли кушать.

На столе лежала долгожданная горбушка свежего пшеничного хлеба, но я как-то не особенно обрадовался, будто всю жизнь ел такой хлеб. Я жевал и смотрел на отца, на его лоб, на его губы, на его шрам, уходящий в волосы, как тропинка в лес.



— Миша, ты не забыл про постановку?

— Конечно, нет! А кого я буду играть?

— Телефонный звонок.

— Кого?

— Звонок, телефонный!

— Как это? — опешил я.

— А вот увидишь!

— Звонок же не говорит, а звенит!

— Вот ты и будешь звенеть.

— Интересно!.. Ну, мама, спасибо, побегу! Меня Колька ждёт!

— Постой, Миша! Сегодня я не буду ночевать дома, прямо из клуба поеду на ток, так что не удивляйся. У нас останется Анатолий, я его попросила.

— Ладно, мама!

Я накинул пиджачишко, выскочил на улицу и

побежал, спугивая успокоившихся гусей, которые сердито шипели мне вслед.

Луна уже появилась, но её лучи были бессильны, земля ещё жила дневным солнечным светом.

Чтобы попасть к клубу, нужно сделать большой крюк: обогнуть озеро, заросшее плавучими камышами, которые при ветре беспризорно шатались по водной ряби, обогнуть берёзовую рощу с покосившимися крестами старых могил. Эти могилы были одним из самых таинственных мест деревни. Слухи про них ходили необыкновенные. Будто ночами по влажной от росы земле здесь шляются заводные скелеты и отчаянно стучат сухими белыми костями, и будто звуки эти похожи на звяканье пустых консервных банок. Потом скелеты в одно мгновение шлёпаются на траву, к чему-то чутко прислушиваются и вдруг вскакивают враз и с криком: «Кха!» — взлетают в тёмное небо. Мы, ребяташки, только полуверили в эти рассказы, но в сумерках косяком обходили рощу, а днём перебегали её на цыпочках: всё чудилась в густой листве кладбищенских берёз какая-то неотразимая жуть. Может, улетаая, скелеты оставляли на сучках свои невидимые доспехи, может, с могил испарялась какая-нибудь нечисть и дурманила наши головы, но всегда, когда кресты оставались позади, мы тайком друг от друга глубоко вздыхали, как будто для того, чтобы очистить лёгкие от могильного воздуха.

Я уже подходил к клубу, когда Колька догнал меня.

— Хочешь огурца? У Роженцевых — во огурцы! — Сам он чавкал, как поросёнок, лодочки семян заехали ему даже на щёки, держа курс к ушам.

— Сейчас Кожиха сказала бы: не-вос-пи-танность.

— А я бы ей фигу показал.

— Ну и дурак...— рассмеялся я, но тут же поперхнулся.— Кольк, а ведь они похоронную получили, мне мама сказала.

— Но...— Колька замер с полузасунутым в рот огурцом, вытянул его обратно, вытер о пыльные штаны и сунул за пазуху.

Народ уже толпился у широкого клубного крыльца. Кино или представления у нас бывали редко, поэтому сегодня даже с полей приехали пораньше. Клуб наш, бывшая церковь, был тёплым и просторным, окна — высокие, с мощными железными решетками. То, что называлось сценой, сбили из горбылей, уложенных кверху срезом и опиравшихся на чурбаки. Справа и слева висели занавески, за которыми прятались артисты.

Возле меня появилась мама и шепнула:

— Живо на сцену. Начинаем.

На сцене стоял стол, покрытый красной скатертью, спускавшейся до пола. Вот под этот стол должен был я пробраться и под ним играть свою роль. Две десятилинейные лампы, висевшие по бокам сцены, светили тускло, и я юркнул под стол незамеченным. Тут было совсем темно. Да-а, играть-то хорошо, а смотреть лучше.

Я сидел со школьным колокольчиком в руках и ждал, когда мама мне шепнёт: «Звони».

Вдруг скатерть покраснела, точно её раскалили. Рядом с моей щекой возник слабый луч света. Дырка. Я прильнул к ней обрадованно и увидел и сцену, и передние нечёткие ряды сидящих в зале.

Кто-то невидимый объявил, что сейчас будет показана «одноактная пьеса», название я не разобрал. Действие началось. На сцену вышел высокий фашистский генерал с разбухшим животом, с одним

стёклышком у глаза вместо нормальных очков. Генерал заговорил маминым голосом. Ого-го-го! Забавно она преобразилась!

Дырка в скатерти была небольшой, и голову приходилось всё время переваливать с боку на бок, потому что генерал расхаживал из угла в угол. Когда он отходил, я видел его всего, а когда подходил — только штаны с ушами, галифе.

Привели русского пленного. Он притворился дураком и бессмысленной болтовнёй долго морочил генерала. Я так засмотрелся, что прослушал мамин шёпот: «Звони». Лишь когда генерал шлёпнул по столу кулаком и почти крикнул: «Звони!» — я затряс колокольчиком. Но сколько надо было звонить, мама не говорила, поэтому я болтал и болтал колокольчик. Только когда ко мне под стол вдруг просунулся генеральский сапог и ткнул меня в колено, я зажал язык звонка в кулаке.

А пленный всё чудил.

— Выворачивай карманы! — рычал фашист.

— Боюсь, — сложив руки лодочкой и приседая, говорил русский.

— Выворачивай!

Пленный бросился к фашисту и хотел вывернуть у него карман.

— Дурак! — Большепузый брезгливо сморщился.

Но этот дурак ловко завладел его пистолетом, пристрелил генеральского адъютанта и арестовал самого генерала. Тут подоспели наши, красные.

Русский оказался разведчиком. Играл его Анатолий. Зал хохотал и хлопал в ладоши.

Я задумался, как выбраться из-под стола. Лампы горели ярко, и было бы смешно, если бы я на четвереньках выполз на сцену.

— Бабы!.. Товарищи! — раздалось вдруг за ска-
тертью. Я прильнул к дырке. У края настила стояла
тётка Дарья, ко мне спиной. На ней были сапоги,
юбка и кофта — всё то, в чём она обходит поля. Пла-
ток с головы спустился на плечи, открыв узел вол-
ос.— Мы хотели завтра провести собрание. Но
поскольку тут массовое мероприятие, то зараз пого-
ворим о деле. А тут ещё произошла одна неожидан-
ность, но о ней после... Как видно, у нас больше
баб...— И тётка Дарья начала говорить о положении
в колхозе, об уборке хлебов. Оказывается, всего у
нас два комбайна: один на Дальнем таборе, а другой
на Первой гари, фёдоровский; на остальных участ-
ках жнут серпами.— А сегодня случилось вот что.—
И опять прозвучала печальная история Хромушки.
В зале задвигались и зашептались.

Кто-то спросил:

— Поймали его ай нет?

— Нет, не поймали.

В зале ещё более зашумели. Тётка Дарья подня-
ла руку.

— Неизвестно, кто это был. Но этим делом уже
занялись, и скоро всё выяснится. Лиходей не уйдёт
далеко. А теперь я хочу сказать нашим детишкам
спасибо, спасибо от имени правления колхоза и от
всех вас... Сегодня вместе с учительницей вышли в
поле тридцать человек собирать колоски... А наших
пастухов я порадую: пасечник Степаныч велел пе-
редать им вот эти патроны, пять штук... Идите-ка
сюда.

Сердце у меня взбудораженно запрыгало, и что-то
защекотало в носу.

А к сцене уже кто-то подталкивал смущённого
Кольку. Тётка Дарья затянула его на помост.

— А где же твои друзья?

— Шурка домовничают, а Мишка стращался в пьесе играть, а сам ни гугу.

Я не мог больше сидеть под столом, откинул скатерть и на четвереньках выполз на занозистые горбыли. В зале засмеялись и опять захлопали в ладоши. Я почувствовал, что покраснел, как та скатерть. Тётка Дарья присела перед нами, обхватила нас своими крепкими мужицкими руками и расцеловала.

— Миленькие мои. Вот вам снаряды. Бейте прямо в лоб, если кто будет зариться на колхозное добро.

Колька взял два патрона, я — три. На гильзах пятнышками сидела ржавчина, капсюли малиново блестели, внутри глухо и тяжело болталась дробь. Патроны настоящие! Вот Шурка обрадуется...

Мы спрыгнули на пол и отошли в сторону.

В лампах не хватало керосина, их долили водой. Огоньки потрескивали, приплясывая на фитилях, коптили, выбрасывая к потолку хлопья сажи и рисуя на стёклах чёрные языки.

А люди говорили и говорили.

С уборки перекидывались на фронт, с фронта — на сдачу молока, со сдачи молока — снова на уборку и опять возвращались к фронту. Кто-то сказал про похоронную, полученную Кожихой.

Тётя, сидевшая за моей спиной, шепнула соседке:

— Как бы чего с бабой не случилось, она ведь и так никудышная, а тут вот ещё. Уж хоть бы судьба злая обходила таких людей.

Собрание закончилось поздно.



Мы с радостью выскочили из душно-го клуба на улицу и врезались в такую кромешную темноту, что схватили друг друга за руки, чтоб не разойтись.

— Бабоньки, темнотища-то, как на том свете,— ужасался кто-то.

Какой-то парень храбро гоготал:

— Ого-ого... Девки, прижимайся шибче, дьяволы растащат.

Девки повизгивали и отшучивались.

Мы открывали и закрывали глаза — безразлично. И, лишь приглядевшись пристальней, различали угловатые контуры ближних домов.

Но тут посветлело; туча проползла, однако за ней следом потянулись грязные обрывки, то заслоняя, то освобождая луну. Волны света и тени начали перекатываться через деревню.

Мы пошли. Сбоку сквозь ночную серость проступала немая кладбищенская роща.

Колька остановился и глянул в ту сторону.

— Мишк, а ведь если прямиком чесануть, то у Шурки секунд в секунд будем.— Он выжидательно помолчал.— Тётка Матрёна живей нас придёт и всё ему расскажет. Тогда весь интерес пропал.

Я колебался, я просто боялся. Сейчас, может, самый разгар гулянья у скелетов, мы как раз и подкатим. Я высказал свои опасенья, но Колька не унялся.

— Эх ты, шкелеты! Да если бы нечистая сила была, то за церковь давно бы черти всех задрали.— Колька вздохнул.— А вообще-то сейчас как раз полночь... Ну, как? Смотри, уж люди-то разошлись... Ладно, пошли. Нечего трусить.

Мы двинулись. Мне казалось, что при каждом шаге под ногой что-то предостерегающе хрустит и шевелится, что вдали уже маячат белые костлявые уроды и слышится звон выеденных консервных банок.

Роща неумолимо надвигалась. Колючие мурашки бегали по моей спине.

Когда поравнялись с первыми могилами, Колька шепнул: «Бегом!» — и рванулся. Я — за ним. Но тут нахлынула волна темноты, и не успел я сделать трёх прыжков, как раздался Колькин вскрик, и он растянулся, а я уже летел через него, разбросив руки. Что-то вроде жеребьячьего ржания вырвалось у меня из горла, но сразу осеклось, потому что я упал лицом вниз.

Я вцепился в сырую и холодную траву судорожными пальцами и замер, прикинув к земле, ни о чём не думая, но ожидая, что сейчас меня скрутят и куда-нибудь утащат. Вот уже тянут за ногу.

— Мишк, это я о крест запнулся, наверное, бык вывернул.

От простого Колькиного голоса я облегчённо вздохнул и расслаб.

— Побежали. Тётка Матрёна, поди, уж пришла... Или чо ушиб? — Колька на коленях, точно калека, подобрался ко мне.

Я сел. Кресты, чёткие при лунном свете, опять затуманили моё соображение.

— Да, да,— прошептал я.— То есть нет, я не ушибся... Только потерял патроны... Колька, что это там белеет?

— Где?

— Вон...

— Это ж берёза. Да ты не зырь по сторонам-то, не пугайся... Растяпа, потерял. Ищи...

Я боязливо зашарил рукой по влажной траве, оправдываясь:

— Ещё бы. Я через тебя чисто самолётом перемахнул, можно было голову свернуть.

— Ладно, ищи.— И сам он суетливо заёрзал по земле.

Мы были как полоумные, собирающие ночью ягоды.

Я уже озяб. Штаны на коленях промокли, и эта холодная мокрота захватила не только ноги, но отдавалась во всём теле, заставляя вздрагивать и втягивать шею в плечи.

Одного патрона никак не могли найти. Мы истоптали, наверное, порядочный круг — и всё без пользы. Ведь где-то лежит, безмозглый. Я уж про себя бормотал: «Чёрт, чёрт, пошути да отдай!» Колька начал посапывать. И вдруг откуда-то снизу донеслось громко и ясно:

— Кха! — А потом ещё раз: — Кха!

Я попятился и упёрся в Колькин живот. Колька мгновенно и цепко обхватил меня руками, и так мы замерли перед этим звуком.

— Кха-кха,— раздалось уже ближе и чётче.

От моей головы, казалось, остались одни глаза и уши.

Я не боялся, потому что ничего не чувствовал. Я просто всматривался в сумрак, чего-то ожидая. И когда возникло чёрное живое пятно, я даже не вздрогнул. Я упёрся в него взглядом расширенных глаз и, не моргая, следил за ним, пока оно приближалось. Я даже не сразу сообразил, что это — человек, хотя очертания головы, рук и ног разобрал тотчас, как фигура появилась. И вообще я будто стал существом неживым, до того полным было оцепенение и испуг.

Человек поравнялся с нами, остановился по другую сторону могилы с поваленным крестом, кашлянул и пробормотал хрипло:

— ...Агитируют-агитируют, дурачье... — Он сплюнул. — Всё равно крышка всем!

Колька, не выпуская меня из своих рук, удивлённо шепнул:

— Дядя Тихон...

Человек харкнул и пробормотал ещё что-то злобное.

— Дядя Тихон, — окликнул Колька, поднимаясь.

Дядя Тихон, точно падая на спину, метнулся от нас, но тотчас остановился.

— Кто здесь? — спросил он.

— Это мы с Мишкой.

Дядя Тихон медленно, будто подкрадываясь, подошёл.

— Вы? А что вы здесь делаете?

— Патрон ищем. Мишка патрон потерял, так вот мы и ищем. Нас наградили... от имени...

Колька замолчал, потому что дядя Тихон схватил пальцами его голову, повернул лицом к луне и, пригнувшись, стал всматриваться в него своими впалыми глазами.

— Да это мы... мы... — робко уверял Колька.

Дядя Тихон разогнулся и, словно с неба, проговорил:

— Я узнал вас...

— Дядя Тихон, у вас нет спичек?

Тот отрубил:

— Сейчас война, сейчас ничего нет, ничего! — повернулся, глухо, с бульканьем кашлянул и пропал в темноте.

— Чудной какой-то, — прошептал Колька и поёжился.



Ему холоднее, чем мне: он одет хуже.

Он переступил ногами и ойкнул, потом нагнулся и что-то поднял.

— Вот он, Мишка.— И он сунул мне патрон, холодный, как льдинка.

Мы пустились наутёк от этого сумрачного места, от зловещих могильных бугров, от заводных скелетов, у которых сегодня, должно быть, поломался завод.

От стремительного бега у меня зачесались пятки, и даже не сами пятки, а что-то внутри пяток. Перевели дыхание мы только у озера. Оно было тёмным и безмолвным. Силуэты

застывших камышей смутно виднелись у того берега.

Шуркин огород упирался прямо в воду. Дом стоял выше, полускрытый подсолнухами. В одном окне колыхался неровный, слабый свет. По межгрядной тро-

пинке мы поднялись к избе и на пороге столкнулись с тёткой Матрёной. Она не удивилась, а только спросила:

— Вы что это задами шлёпаетесь?

— Мы чтоб быстрее, — объяснил Колька.

— Ничего себе — быстрее. Я уж к Дарье успела зайти, а они только что заявляются. Ну, проходите.

Комнату освещала лучина, свесившись с края голого стола. Пламя её пошатывалось, то удлиняясь и коптя, то укорачиваясь и делаясь ярче.

Шурка ползал на коленях, низко наклонившись к полу, как собака, вынюхивающая след.

Когда мы вошли, он поднял голову и тихо произнёс:

— Иголку потерял... И пошто это иголки делают такими маленькими?

— Как Нюська? — спросила тётка Матрёна и тут же, положив на шесток какой-то свёрток, прошла за печку, где стояла Нюскина кровать. Оттуда сказала: — Брось ты елозить-то по полу.

Шурка поднялся и стряхнул пыль со штанин. На одной из них выделялась свежая, неумело пришитая заплатка.

— Нюська бегать будет — наколется.

Он ещё раз глянул на пол, выдвинул лучину, чтоб огонь не тронул стола, и подошёл к нам:

— Поди, весело было?

— О! — начал Колька, но я прервал его, тряхнув за штаны.

— Нет, — чуть не брезгливо протянул я. — Фашист по сцене — как это... как супоросная свинья. Ну и... собраньичали... В общем, глянь. — И я протянул ему патроны.

Шурка быстро схватил их, неуверенно потряс,

подскочил к лучине, со всех сторон осмотрел и проговорил, сложив губы воронкой:

— У!.. Патроны!..— По его серьёзному лицу разбежались лучики удивления и радости.

— Настоящие! — гордо дополнил Колька.

Мы расположились на полу и выстроили патроны, как солдатиков.

Шурка принёс ружьё и зарядил его.

— Как раз!

— Ура! — воскликнул Колька.— Теперь эге-ге, бандиты!.. В правый глаз двумя взрывачими!..

— Не орите шибко-то,— сказала тётка Матрёна.— Ньюска хворает, а они орут как бешеные.

— А к ней можно?

— Нашли невидаль... Да уж пройдите.

Захватив лучину, мы прошли за печку.

Ньюска лежала в старенькой деревянной кровати. К кровати был прибит металлический полированный набалдашник, на котором, как мы появились, вспыхнул крошечный огонёк. Ньюска лежала на спине, высвободив из-под одеяла руки и легонько перебирая тонкими пальчиками. Она посмотрела на нас без всякого выражения. Её лицо неприятно осунулось и пожелтело.

— Ты чего это захворала? Ты давай не хворай,— сказал я.— Ньюска, а чего ты хочешь? Хочешь живого бурундука? Поймаем...

Ньюска промолчала, глотнула слюну и медленно моргнула.

— Ну, хлопцы, хватит.

Наши головастые тени скользнули по стене и замерли на двери.

Тётка Матрёна взяла с шестка свёрток, развернула его. Мы увидели кусок мяса и переглянулись. Это, конечно, от Хромушки.



— Ну, ступайте, ступайте,— полушёпотом заговорила тётка Матрёна.— И что за гуляки, не уторкаешь никак! А утром что, грабли в форточку — да стягивать одеяло?

У всех мужиков и баб был к нам одинаковый подход, без хитростей и без намёков. Если надо — мигом выставят вон, если надо — усадят за стол, набедокуришь — отругают сплеча. Мы привыкли к этому и поэтому не дулись и не косились ни на кого.

Едва мы вышли за ворота, я толкнул Кольку в бок.

— Кольк, а не мешало бы нам по патрону, а?

— Эге!

— На всякий случай, пусть и без ружья, да? Вы-

тащишь его из кармана: «Видишь, мол, эту штуку?» Он сразу задрожит и — дёру!

— Кто?

— Ну, кто? Кто-нибудь...

— А-а!

Друг понял меня. Этот кто-то, родившийся сегодня в нашем сознании после встречи у зарослей, не имел определённого лица, но имел определённую хватку, хватку врага.

Тёмная улица была пуста и тиха, только изредка где-нибудь таякала собака да спросонья гоготали гуси.

— До побудки,— буркнул Колька возле нашей калитки и побежал домой.

Я, покосившись на дом Кожихи, быстро рванулся к двери, но на крыльце налетел на неподвижного толстого человека. Я ойкнул и отпрянул.

— Что, обормот, испугался? — Толстый человек раздвоился: это были Анатолий с Нинкой.

— Я... не испугался, я так... А что это вы обнимаетесь?

Нинка рассмеялась. Анатолий, обхватив её за плечи, ещё плотнее прижал к себе и ответил:

— Чего же нам не обниматься?.. Эх, братуха, погоди вот, вырастешь — тогда мы потолкуем с тобой об этом деле. Ясно?

— Пропустите меня,— вздохнул я.

Я забрался на мамину кровать, накрылся одеялом и сжался в комок, как кот. Мягкая постельная прохлада быстро растаяла от моего тела, и я, повернувшись на спину, вытянулся во весь рост.

Спать не особенно хотелось, и я задумался. Я перебрал по порядку все события сегодняшнего дня. Он показался мне необычайно длинным, так что сразу не представишь.

Я закрыл глаза, чтоб сосредоточиться, но, наоборот, всё замелькало с ещё большей быстротой: заросли тальника, тёмная фигура в кустах, дед Митрофан, злой Фёдор у комбайна, осина с боронными зубьями в стволе, фашистский генерал на сцене, чем-то похожий и не похожий на маму, но вдруг раздался выстрел и на скрипучий помост ворвался отец. Оказывается, разведчик — это он, только почему я не узнал его тогда? Я бы опрокинул стол и бросился к нему на шею, и никто бы не рассмеялся, все бы расплакались, переживая радость нашей встречи.

Но вот отец тряхнул головой и превратился в Анатолия. Мне захотелось открыть глаза и посмотреть на портрет. Но отяжелевшие веки были неподатливы. Я ещё слышал, как пришли Анатолий с Нинкой, как они возились, расстилая фуфайки. Потом донёсся голос Анатолия: «Ах ты, соловей-разбойник!» Потом — шёпот Нинки: «Я не соловей, я — соловыха»...

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Утром я очнулся от щёлканья бича. Ребята обычно не заходили в избу, а стоя под окном, кричали и щёлкали бичом до тех пор, пока я не выскакивал на крыльцо или, приплюснув нос, не маячил им из окна, дескать, и я на ногах.

В горнице был беспорядок — на полу валялись фуфайки, шуба. Я махнул рукой — прибирать некогда.

Перешагивая через фуфайки, я наступил на что-то острое, сморщился и присел. В скатанной шерсти шубы что-то блеснуло. Это был складень. Да, да, тот самый складень, со штопором, шилом и двумя лезвиями, который разжигал в наших глазах жадный



блеск. Он лежал у меня на ладони, и перламутровые щёки его светились синеватым отливом. Для меня исчезло всё окружающее, я даже не видел собственной руки, а только складень.

Я вздрогнул, когда, задев стекло, снова лихо щёлкнул бич. Вскочив с шубы, я ринулся к двери, распахнул её и, едва коснувшись крыльца, махнул прямо во

двор. Я уже разинул рот, чтобы крикнуть: «Ребя!» Но они глянули на меня скучными глазами, а Шурка, кивнув на соседний дом, зажал себе рот, чтобы я молчал. И возглас застрял в моём горле.

Возле дома Кожихи толкались люди, перешёптываясь и сморкаясь. Из избы, держа в руках кепку, вышел Фёдор с бабкой Акулихой, и вместе они подошли к подводе, стоявшей тут же, у ворот, с ворохом свежей зелёной травы, и начали, играя руками, что-то объяснять глуховатому деду, державшему вожжи.

Мы, любопытно тараща глаза, приблизились к ним.

— Тётка Дарья, чего это?

— Не мешайте, пузыри,— отмахнулся Фёдор и снова направился в дом.

Тётка Дарья отчеканила:

— Кожиха померла... Вы, ребятки, ступайте, ступайте! Выгоняйте стадо!

— А чего она? Подавилась? — спросил Колька.

— Нет, обыкновенно. Сердце схватило.

— А камнем её могилу завалят? — не унимался Колька.

Шурка прикладом хлопнул его по задку.

— Не мели...

Мы, насупившись, глядели на понурых медлительных людей и ждали, что будет дальше.

Я отчётливо представлял себе чёрную Кожиху в белом гробу, на хвойной подстилке. Это было страшно, я встряхнул головой.

— Айдайте.

— Погоди, посмотрим.

Тётка Дарья, увидев, что мы ещё здесь, турнула нас.

И мы пошли.

С чего это так? Живёт человек, живёт, ест, разговаривает, смеётся, а потом вдруг, бах, умирает: и глаза закатываются, и лицо желтеет, и вообще всё в нём становится жутким. Мы знали, что людям необходимо умирать, но почему — не понимали, поэтому смерть не удивляла нас, а пугала.

Дед Митрофан, согнув ноги в коленях, стоял в открытых воротах и, приложив к бровям ладонь козырьком, смотрел нам навстречу. По мере того как мы подбегали, дед выпрямлял ноги.

— Я вас, босалыги, коло часа поджидаю, — напустился он.

— Дедусь, — перебил я, — Кожиха померла.

— Знаю, — отмахнулся старик. — Выпускайте...

Колька пошёл отпирать овчарню.

— Почему она, правда, померла?

— Срок пришёл. Пришёл — и всё, сымай узду и не дыши, — поводя большим пальцем, рассудил дед. — Это у каждого человека — срок. Вот как ты родишься ещё рабёнком, так сразу тебе и срок

определили, сколько, значит, тебе лет на белом свете мыкаться.

— А кто определяет? — спросил я.

— Знать бы,— развёл руками дед и повторил с сожалением: — Знать бы — выклянчил ещё бы сотню годов.

— Это враньё,— спокойно и уверенно сказал Шурка.— Вот я сейчас захочу и головой об столб трахнусь; это что — срок?

— В обязательности.

— А если не захочу?

Сторож задумался, и Шурка ответил:

— Вот видишь, дедусь,— враньё.

Дет Митрофан рассердился:

— Умны больно. Пороть вас надо, оглашенных. Ишь...

Но ему пришлось замолчать и посторониться. Выпущенные овцы устремились к выходу. В таких широких воротах они умудрялись застревать и давить друг друга.

Мы угоняли стадо и всё оборачивались, надеясь увидеть белый гроб. Со слов смерть представляется неопределённо и вообще сомнительно. Может быть, зря болтают, может, жив человек. А когда увидишь гроб — всё ясно: собираются зарывать в землю.

Мы спустились в лог, и деревенские улицы исчезли, виднелись только серые плетни последних огородов, языками спускавшиеся по склону, да недалеко от них вперемежку с молодым березняком торчали кресты Нового кладбища. Новым оно было потому, что возникло позже того, старого, что осталось среди деревни. Но, несмотря на свою «молодость», оно уже успело обрасти многочисленными крестами. В обычные дни мы спокойно проходили по нему, угощались

клубникой, которая здесь славно поспевала, поправляли дёрн на могилах и укладывали на них венки, ничего не пугаясь, не относя жуткие слухи про старые могилы к этим. И кресты нам казались добродушными, и могилы нестрашными. Но после чьих-либо похорон всё менялось: сплетенье крестовых перекладин представлялось зловещим, мы начинали верить в то, что могильные бугры шевелятся и заглатывают маленьких ребятишек, даже ягода считалась отравленной. Но это длилось недолго. Смерть и похороны быстро забывались, и кладбище переставало пугать нас.

Голодные овцы жадно набросились на зелень. Чертило и тот, забыв свои прежние проказы, умчался вперёд стада и там пощипывал траву.

Всё вокруг спокойно и тихо.

Жёлтое ослепительное солнце медленно двигалось по голубому небу, которое было таким чистым, что облака не решались проплывать по нему, а толпились там, далеко-далеко, где тёмной полоской вырисовывалась тайга.

Я показал ребятам складень. Они остановились, быстро схватили его: Шурка — за один конец, Колька — за другой, и стали пристально всматриваться в синеватые щёчки, точно в глубине их, как в волшебном зеркальце, возникали сказочные образы. Потом они посмотрели на меня, будто желая убедиться, что это действительно я, а не кто другой. Снова склонили головы. Наконец Шурка вернул мне складень, а Колька вздохнул:

— Ещё бы — родня...

В этом молчаливом жесте, во вздохе и в словах я уловил какую-то отчуждённость и холодность и, чтобы как-то исправить положение, сказал:

— Да нет... Вы можете раскрыть его, и можете

переносить его полдня... вместе, и можете чижика сделать.

На этом и сошлись. Складень перешёл к Шурке в руки, а Колька, вытащив из-за пазухи вчерашний трофей — сапожничий нож, побежал вниз, в заросли, чтобы выбрать подходящую талину для биты: прямую, с изгибом у корня.

— Колька! — крикнул я вслед. — Ты, может, бурундука поймал? Ты умеешь ловить... Ньюске бы...

— Ладно... Если попадётся.

— Бурундук царапучий. Ей бы что другое... Зря вот кора сейчас не отстаёт, а то б свистков наделали, — сказал Шурка, снимая сапоги с раструбами и опуская разгорячённые ступни на прохладную, влажную траву. Очевидно, это было приятно, он улыбался, с шумом втягивая сквозь зубы воздух, словно он обжигал. Я тоже разулся, хотя мне вовсе не было жарко, и погрузил ноги в траву, шевеля пальцами.

— Надо как-то за шишками вырваться, — глядя вдаль, за болотные топи, произнёс Шурка. — Они, поди, уже рот не вяжут. Прошлый год тайга была переходница, нынче обязательно урожай. Ньюска любит шишки. Сама-то не была в тайге, а шишки любит.

Я смотрел на тёмную полосу тайги и пытался представить, как там и что там. Мне очень хотелось туда. Я ещё тоже не был в тайге. Кедры! Какие они? С большую берёзу или выше? Проще было бы спросить у Шурки, но я хотел сам пофантазировать. Я слышал про малинники, буреломы, бездонные омуты в речках, про трясины, но я не знал их. Ну, малинники — это понятно. А буреломы? Свалка исковерканных грозой деревьев! Однажды по нашим ого-

родам пронёсся бешеный вихрь, и большинство подсолнухов почти легло на землю, вывернув корни. Зрелище необычное. А как бы выглядела тайга после бури?! Перекрещенные стволы, мрак, даже какое-то лязганье и вой смутно представлялись мне. Стволы вдруг поднимались, как живые, снова падали, снова поднимались, треща и охая, и валялись опять, стараясь лечь поудобнее... Но определённой картины не возникало.

Я смахивал все видения и взбудораженным воображением рисовал новые. И новые, живя лишь миг, уходили в туман. И только тёмная полоска вдали оставалась явной и чёткой. От этого мне ещё более захотелось в тайгу. Я готов был лететь туда, готов был забраться на самый высокий кедр, тряхнуть его так, чтобы не осталось ни одной шишки, набрать в лёгкие воздуха много-много, до трещин на груди, и крикнуть что есть мочи: «Эге... ге... ге!...» И уж наверняка с кедра б я увидел половину земли и обязательно какое-нибудь море.

Я очнулся и затормошил дружка.

— Шурк, а неужели так по болоту и идти всё время?

— Нет, не всё время. Где полая вода, там прямо по воде.

— У... у! И как же?

— А так. Иди, будто нет воды, не признавай, и всё. Вода сверху только, а внизу держит мох. Идёшь,— Шурка делает руками шагающее движение, ударяя ладонями по воздуху,— и от тебя круги, чисто от поплавка, а под ногами так, как будто ступаешь по перине, и она уходит под тобой... И боязно, и приятно... Эх, надо сходить за шишками.

— А меня-то возьмёте?

— Мы всей нашей шайкой: Колька, ты и я. Ты

знаешь, как Колька по кедрам шныряет? Кота завидки раздерут. И кедр не обхватывает, и ростом мал, а скинет ремень, привяжет по-хитрому к ногам и — наверх. Были б ещё сучья, а то ствол-то голёхонек... В общем, посмотришь.

Из зарослей выкарабкался Колька, отвоёвывая у кустов срезанные лозины, которые цеплялись пышными остролистыми ветвями за подол тех, что остались расти и зеленеть.

Мы двинулись следом за прожорливым стадом.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Ребя, смотри! — странным шепотом сказал Шурка.

Это было через несколько дней после того, как у нас возникла мысль отправиться в тайгу.

Разморённые полуденной жарой, мы решили угнать стадо в деревню и искупаться. Овцы привыкли в это время отдыхать и плелись нехотя, терпеливо ожидая, когда же им наконец позволят бухнуться куда-нибудь в тень и вздремнуть.

Мы шли, играя роскошными тросточками, вырезанными из гладких талин. Змейки, шахматные клеточки, кольца и фонарики ловко чередовались между собою и так весело переливались светом, что казались живыми.

В кармане моих штанов бок о бок бились патрон, который я выпросил у Шурки, и складень, который я всё ещё не вернул Анатолию, потому что не встречал его и, откровенно говоря, не хотел бы встречать.

Колька, то поддёргивая штаны, то поправляя ружьё, без умолку болтал:

— Мамка всю ночь меня целовала. Как надви-

нется, аж хрустю. Скажет: «Ах ты мой единственный!» — и сизнова.

— А не плачет?

— Не знаю. Ночь, где поймёшь. А утром: «Разбойник ты, говорит, этакий, треплешь ты, говорит, мои нервы». К чему тогда целовать, когда я нервы треплю?

Мы проходили мимо кладбища и смолкли, вглядываясь в лабиринт крестов, ища среди них новый, белый, Кожихи. Вот тут-то Шурка и сказал: «Ребя, смотри!..» Я увидел две неподвижные человеческие фигурки. Одна стояла к нам спиной, другая склонилась на коленях. Это были Витька и Толька Кожины.

На шум стада они даже не повернулись.

Мне было очень жалко этих мальчишек. За что мы их недолюбливаем? За то, что у них странная мать? А может, и у меня странная... хотя нет, у меня не странная, а вот у Кольки — да. Так что же, нам и на Кольку коситься? Это несправедливо.

— Они теперь вовсе одни,— промолвил я, когда кладбище осталось позади.

Ребята не сказали ни слова, но они, по-моему, думали про то же. Колька смотрел себе под ноги; Шурка послал вперёд бич ленивым движением, на биче вздулась волна, побежала к концу хлыста и там взорвалась с лёгким треском. Шурка зачем-то буркнул: «Кш-шш», точно впереди были куры, а впереди вообще уже никого не было, потому что овцы удрали во двор.

На земле, подпирая спиной дверь сторожки, сидел дед Митрофан, держа в руке сучковатую палку.

— Опять прогагарили Чертилу. Он, нехристь, чуть поскотину мне не разворотил,— напустился на нас дед.

Его беззлая ругань не была для нас неожидан-

ностью. Колька с Шуркой понесли прямо на озеро, а я свернул к тётке Феоктисте, выклянчил у девчонок кусок хлеба, две картофелины и вылетел из ворот.

На углу стояла бестарка, в ней сидела Нинка, а рядом переминался с ноги на ногу Анатолий. Сердце моё дрогнуло. Сейчас он остановит меня и воскликнет: «А! Обормот! Давай-ка сюда складень!» Что делать?.. Может, махнуть в огород и отсидеться, пока не заметил?.. Нет уж, встречи рано или поздно не избежать, так что лучше самому! Я подошёл к ним.

— Толь! — сказал я хмуро. — Когда вы это... с Нинкой у нас ночевали, ты это... складень забыл. Вот! — И я обречённо вынул ножичек.

Однако Анатолий особо не обрадовался, как я ожидал, он даже руки не протянул, а, едва глянув на складень, с хитрецей уставился на меня. Я же, держа находку на ладони, хлопал глазами и не знал, что делать.

— А почему ты думаешь, что я забыл его? — вдруг спросил Анатолий.

— Потому что я нашёл.

— Находят на улице, а не дома. Так вот, считай, что я оставил его нарочно. То есть подарил тебе! Ясно?

— Дарят в руки, а не в шубу, — не сдавался я, ожидая какого-нибудь подвоха.

— Неожиданный подарок — это ещё ценнее! Сюрприз! Вот так, Мишук! Складень теперь твой! Правильно, Нина? — обратился он к подружке, и та согласно кивнула. — Трудновато мне без него придётся, но ничего, переживу! Только чш-ш, ни слова — при каких обстоятельствах ты завладел им! Подарили — и всё. Ясно?

— Так точно!

— Чеши! — И Анатолий подшлёпнул меня.

Я сорвался с места и, ликуя, помчался по улице. У поворота налетел на девчонку, колотившую палкой хрустящую телячью шкуру.

— Ты что, белены объелся! — пискнула она и швырнула вслед палкой. Но, ого, где же за мной поспеет палка, брошенная девчонкой!

На травянистом берегу расположились несколько человек, и всё наш брат — мужичьё. Шурка с Колькой уже плескались на середине озера. Я мигом спустил с себя всё до нитки, сунул в раструб Шуркиного сапога, разбежался и, как лягушонок, с растопыренными руками и ногами, бултыхнулся в воду. После духоты и пота, когда тело зудит и вялость валит с ног, оказаться в прохладной глубине так приятно, что не хочется ни двигаться, ни думать. Я не вынырываю, пока сердце не начинает стучать в голове.

Ребятишки крикнули:

— Мишк, дуй сюда, потеху сляпаем.

Они сидели верхом на колоде, из которой когда-то поили скотину, и гребли руками. Я подплыл и попробовал взобраться, но колода юрко, точно веретено, перевернулась, и мы разом ушли под воду. Смеясь и отплёвываясь, мы всё же оседлали нашу водяную «кобылу».

— Мишк, вишь — гуси. Глянь, что сейчас будет,— задорно проговорил Колька, привстал, глянул на камыш, на берег, прикинул что-то в уме и, изогнувшись, нырнул без брызг и шума.

Мы изумлялись Колькиной ловкости нырять; под водой он шёл быстро и незаметно, как утёнок, и никто из деревенских мальчишек не мог его перенырнуть. Мы следили за гусями, но те не подавали ни малейшего признака беспокойства. А и правда, на воде — ни круга, ни пузырька. Прошло уже много вре-



мени, и вдруг гусей точно подбросило взрывом. Бедные птицы шарахнулись кто куда, и от оглушительного «га-га» аж зашатался камыш. Колька появился среди них с криком, размахивая руками и поднимая фонтан брызг.

От смеха мы с Шуркой не удержались на колоде и съехали по её скользким бокам.

— Здорово! — булькал я.

На берегу уже тряслась толстая тётка с хворостинной в руке. Это была Граммофониха.

— Я те, окаянный, башку разобью,— надсаживалась она.— Теги-теги... Я те задницу распишу. Теги-теги-теги... Я те... Теги-теги-теги...

Гуси, трепеща крыльями и всё ещё гогоча, поспешно сплывались и камышом-камышом устремлялись на зов хозяйки.

Не скоро они теперь решатся заглянуть на озеро. Подплыл Колька.

— Теперь Граммофониха насплетничает. Про баню не сплетничала — не знала, а теперь... А у мамки и так нервы натянуты, она говорит, что это я их натянул,— вполголоса проворчал Колька.

— Ничего не будет, скажешь, что это я гусей напугал,— подбодрил Шурка.

Мы закупались: и губы посинели, и кожа пупырышками взялась, как на молодых огурцах, и языки стали костлявыми. Устало подплыли к берегу.

Возле нашего белья примостились две девчонки, дочки дяди Тихона. У них было ведро с мокрым бельём и валёк, они, очевидно, ждали, когда все разойдутся.

Разворачивая свою рубаху, Колька выронил нож. Одна из девчонок подняла его, оглядела и живо вскрикнула:

— Ой, глянь-кось! Наш ножик! Откуда он у вас?

Колька солидно разжал ей кулак, отобрал нож и ответил:

— Заполошная, ваш! Он — бандитский, им Хромушку кокнули.

Хлеб и картошку я не съел по дороге и теперь разделил с друзьями. После купанья силы уменьшаются, а аппетит увеличивается. Мы пошли по бе-

регу, помахивая тросточками. Ребятишки провожали нас восхищёнными взглядами.

Когда, обогнув озеро, мы вышли на другую его сторону, Шурка недовольно проговорил:

— Вы шибко-то нос не задирайте.

— А мы и не шибко,— заикнулся Колька.

Шурка пристально посмотрел на него и тихо, точно самому себе, сказал:

— Вовсе не надо. Кто нос задирает, тот человек порченный.

Ребята свернули в Шуркин огород, а я по тропинке, петлявшей в высокой крапиве, побежал домой. Надо было прибрать постель, а то придёт мама, разведёт руками, как тот раз, когда Анатолий ночевал у нас, и скажет: «Плохие мы с тобой хозяева, сынок, даже комнату в опрятность привести не умеем». Я-то уж знаю, что к чему в этих словах, хоть мама и улыбается, да хитринку её я чую и с закрытыми глазами.

Теперь рядом с нашим домом торчит пустой холодный дом Кожиhi, и, кто знает, может, в нём заведётся нечистая сила, ведь, говорят, черти любят такие избы. Тогда уж вечером долго не погуляешь, а ночью, чуть чего, будут мерещиться какие-нибудь огненные глаза. Неожиданно над трубой Кожиhиногo дома я заметил дым. Я прибавил ходу. Перед крыльцом дымила ещё и железная печка, а по жердям ограды были развешены перины, одеяла и другие тряпки. В этом хозяйском беспорядке чувствовалась жизнь. Нежилым и сумрачным казался, пожалуй, наш дом. Что за превращение!

На крыльцо с новой охапкой белья вышла бабка Акулова. Забравшись на ограду, я изумлённо спросил:

— Бабушка, а как вы тут?

— В самый раз, мой ангел, в самый раз. Окольных сирот надо ж кому-то притеплить. Дарья пошущукала с народом-то да и меня приставила. Вот я и тутока. Да и слава богу. У нас девкам и без меня тошно; как тараканов набилось в избёнку, а избёнка, прости господи, с курёнку. А тут — хоромы... Ишь чо, всё перепрело,— говорила бабка Акулова, не переставая разбрасывать по кольям бельё.

— А вы серу с собой забрали? — поинтересовался я, как-то сразу забыв про огненные глаза.

Старушка часто ходила в тайгу, собирала смолу и варила жевательную серу, которую мы, ребяташки, покупали у неё за мелочь.

— Забрала, мой ангел, забрала,— улыбнулась бабка, обнажив крепкие зубы.

Обычно у старых людей зубы или начисто вываливаются, или становятся редкими, как у бороны, а у бабки Акуловой — не подскребёшься. Она уверяет, что это из-за серы. Вот мы её изредка и жуём.

— Ну, тогда ладно, у меня дела,— сказал я.

— С богом, мой ангел... Да, ты не видел моих сирот? Ведь как ушли с утра, так и нет.

— Они на могилке... Там...

Бабка качнула головой, шевельнула губами и принялась выколачивать перину.

С ребятами я встретился на скотном дворе.

— Как Нюська?

— Встала. Скоро нам будет обед носить,— сказал Шурка.

— Вот и бурундука не успели поймать.

— Что же, ей хворать, пока мы бурундука не поймаем?

— Нет, но всё же... Это ты, лопаухий,— упрекнул я Кольку,— не смог поймать.

— Раз не попался...

Когда мы выгоняли стадо, Колька придержал меня у последнего огорода.

— Погоди, щас огурцов прихватим.— Он плашмя протиснулся между иссохших до трещин жердей, плюхнулся в высокую траву и, прошуршав ящерицей, исчез.

На меня нахлынул горький полынный запах. Скоро он вернулся.

— На, держи.

Я подставил ладони, ребром прижатые к животу, и Колька нагрузил их огурцами.

— Если эта Граммофониха насплетничает, я ей тогда дам.

— Да брось ты думать об этом. Что она может сказать?

— Что я в гусей кидал камнями и гусыне чуть крыло не перебил, тогда будет... Мамка знаешь как раскричится!

— Ты же не кидал.

— Она сама придумает.— Колька вздохнул и взял огурец.

Стадо скрылось в логу, и мы пустились догонять его.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Жара спадала. Облака, дремавшие вдали, всколыхнулись и двинулись, заполняя голубое небо и отбрасывая на землю живые тени. С бугра хорошо было видно, как они скользили по болоту. Тихо шумел Клубничный березняк, и казалось, это шуршали пробегающие тени, задевая кусты.

Придерживая ружьё, чтоб оно не било по пяткам, я сбежал с бугра, подгоняя овец. Кузнечики, треща крылышками, стреляли в стороны. Слева склон пере-

секала неглубокая канава, промытая водой из ключа, который бил наверху. Канава постепенно росла. Внизу она упиралась в болото. Из болота в этом месте клином выпирал тальник и березняк. Здесь мы отдыхали в полдень. Я собрался было перепрыгнуть самое широкое место, как вдруг раздался крик:

— Ребя! Ребя! Скорей!

Это орал Колька, орал испуганно, мне даже показалось, со слезами. Я кинулся по канаве вниз. Ружьё мешало. Я сдёрнул его с плеча и сжал под мышкой. Колька был недалеко. Он стоял, опираясь на тросточку. Всё на его лице было предельно раскрыто и разинуту.

— Меня змея шваркнула, — выдохнул он.

Я оторопел. Змей я сам боялся до ужаса. Вдруг прямо передо мной шевельнулась трава, открыв чёрно-коричневое блестящее тело змеи. Я отскочил, чуть не вскрикнув. Змея резко подняла голову, глянула на нас и быстро поползла прочь. Упускать её было нельзя. Везде овцы, тяпнет непременно. Что же делать? Ружьё! Я лихорадочно достал патрон, зарядил, дрожа всем телом, и шагнул следом за змеей. Она уже выбралась из тальника и увиливала к болоту. Забежав сбоку, я прицелился и даванул спуск. Меня толкнуло в плечо, оглушило. Первые секунды я стоял, обалдело пошатываясь, потом опомнился и шагнул к тому месту, куда стрелял. В траве корёжились, чуть не связываясь узлом, две змеиные половины. Казалось, их раздирала нестерпимая чесотка. Я с опаской, боясь приблизиться, смотрел на эту предсмертную пляску.

Прибежал бледный Шурка, в одной руке — трость, в другой — бич.

— В кого стрелял? — испуганно спросил он и, тут же заметив змею, облегчённо вздохнул: — Уф!

Я уж думал: опять напали! А этой подлюге так и надо! Здорово ты её разложил!

— Было бы два ствола, я бы её — из двух!

— Ничего, и так не срастётся.

Колька сидел, подмяв под себя талины, и пристально разглядывая ногу выше ступни. Шурка присел и с ужасом спросил:

— Укусила?

— Да вроде, — ответил тот.

— Где?

— Вот и я ищу где.

— Где больно?

— Кажись, тут. — Бедолага, глянув на нас влажными глазами, указал на щиколотку.

— А ну, давай! — Шурка схватил Колькину ногу, опрокидывая того на спину, и впился в щиколотку губами. Щёки его мигом ввалились — он высасывал яд. То и дело сплёвывая, он оторвался, наконец. — Ну, как теперь?

Колька сел, ощупал мокрую от губ щиколотку и нерешительно протянул:

— Кажись, ты не тут сосал... Надо было выше.

Шурка снова дёрнул ногу, и Колька опять бухнулся на спину. На этот раз Шурка дольше не отрывался.

— А теперь? — Он уже тяжело дышал.

Колька тревожно повертел ступнёй, пощупал, даже прислушался.

— Кажись, опять не там... малость сбоку покалывает.

— Э! — вспыхнул Шурка. — Я тебе уже всю ногу обсосал. Добро бы чистую, а то — головешку... — Измученный Шурка третий раз опрокинул Кольку на спину. Он уже сопел от напряжения... Когда кончил, сказал: — Встань и пройдишь... Если опять не тут, я тебе всю морду исковеркаю. Понятно?

Колька встал, прошёлся, подпрыгнул и с улыбкой глянул на нас. То ли помогли Шуркины старанья, то ли змея вовсе не кусала его, но возвращался Колька домой целым и невредимым.

Первый наш патрон, приготовленный для бандита, достался змее. Шурка сказал, что змея — тоже бандит, даже ещё чище. Значит, не зря я стрелял.

Вскоре моя радость омрачилась, хватился я складня, а его тью-тью! Не то что я уже натешился им, а просто сегодня так сложилось, что не пришлось вообще вынимать ножичка, хотя точно помню, как утром, выходя из дома, сунул его в карман. Значит, выпал где-то! А где и как — спроси у бабушки! Разве припомнишь все падения, кувыркания и лазанья даже за полдня! Видно, так и должно быть: что неожиданно явилось, то неожиданно уйдёт! Очень жаль!..

День угасал, как лампа, в которой не хватало керосина. Солнце, шевеля лучами, заходило за тучи, синевшие на горизонте. Длинные тени, падавшие на болото от бугра и от берёзок, росших на бугре, то вырисовывались чётко, как обведённые, то вдруг растворялись в сплошном сером свете. За жидким болотным кустарником, небрежно сколоченным забором чернела таинственная тайга.

Овцы бежали, мелко тряся телами и наперебой бляя. Они всегда дерут горло — и голодные, и сытые.

Во дворах уже суетились бабы с подойниками и подсаживались к коровам, растирая вымя. То и дело раздавались возгласы:

— Ногу... Маша, ногу... Ногу, постылая!..

И следом звенело дно — цзык-цзык, цзык-цзык... И уже не поймёшь, струи молока ли это бьют, или пият дрова.

У скотного двора стояла запряжённая Грёза.

— Тётка Дарья здесь,— проговорил Шурка.— Прибодрись.

Мы раздвинулись на всю ширину улицы и принялись покрикивать на овец, которые и без того были послушны. Заперев овец на засов, мы пошли через конюшню и у выхода столкнулись с тёткой Дарьей и дедом Митрофаном.

— Идём, идём,— тарыхтел дед.

— Иду, иду,— с улыбкой отвечала председательница.— А, хлопцы! Айдайте с нами! Дедушка нам что-то покажет!

— А ты не смейся, Дарья, не смейся! Над собой смеёшься — ты же хозяйка! — Старик подвёл нас к одному из стойл и поднял руку.— Вон она вишь экая дырища!

В крыше мы увидели клочок синего неба.

— Батя, в эту щель только воробьям залетать, а ты паникуешь!

— Не воробей, сюда гусь без зацепа пройдёт. А ещё то, что крыша перекосилась, скат прямо к дыре... В случае дождя вся вода на кобыл. А что, кобыла скотина и есть, всяко может: и то и это... Я бы сам залатал, да куды мне на такую беду карабкаться, по земле-то еле плетусь...

— Ну хорошо, батя. Пришлю плотников... на днях.

Тётка Дарья прошлась по конюшне, похлопала стойки, поддерживавшие крышу, потопала по настилу, вздохнула:

— Да, делов уйма... Так, значит, дедуся, мужичков-то я пришлю... Пошли, миленькие мои.— Она подтолкнула нас к выходу.

— А как ваши дела? Никто больше не нападал?

— Нападали... На Кольку,— сказал я серьёзно.

Тётка Дарья насторожилась.

— Кто?

— Змея!

— Ужалила? — тем же испуганным шёпотом, что и Шурка, спросила она и наклонилась к Кольке.

— Да ничего, тётка Дарья, всё в порядке. Шурка высосал. Три раза прикладывался, пока попал, — ответил Колька, давая ощупать ногу. — Жмите, жмите, всё одно не больно.

— Ну, слава богу. А то ведь люди мучаются неделями, а то и помирают. У нас змеи нешутейные... Если я тебя ещё босиком увижу, запрю в деревне. Да и тебя огреть может, — оборотилась она ко мне. — Пошарьте дома, найдёте какие-нибудь отцовские обноски. Вон Шурка обрядился... И чтобы завтра... Садитесь, до дома подброшу. Но-о, кобыла-жеребец!

— Тётка Дарья, а бандита не словили?

— Нет, хлопцы. Следов никаких нету.

— Какие уж на болоте следы.

— И на болоте нету и вообще нету.

— Поди, где-нибудь в трясину влетел и пустил пузыри.

— Хорошо бы так-то...

Я спрыгнул. Мне хотелось скорее увидеть маму, рассказать ей про всё: и про Кольку, как он всполошил гусей, и про змею, и про то, как я стрелял.

На улице, в том месте, где сходились дворы — наш и Кожихин, стоял Витька. Я сделал вид, что не заметил его, но он шагнул навстречу. От неожиданности я остановился. Он вдруг протянул мне раскрытую ладонь.

— Твой?

Я глянул и онемел от удивления: складень. Да, да, тот самый, со щеками, что отливают синеватым блеском. Я схватил его, открыл все ножи, осмотрел и лишь тогда ответил:

— Мой! Где ты нашёл?

— Возле вашей ограды, потому у тебя и спросил.

— Здо́рово! И как я его потерял!

— Я прохожу, что-то сверкнуло, ну и поднял.

— Здо́рово! — ещё раз повторил я. Мы оба замолчали и уставились в землю. Отойти? Ни с того ни с сего отходить нехорошо, ведь он мне складень отдал. Ведь не всякий мальчишка вот так вот найдёт и отдаст, небось придумает враку, мол, отец прислал или мать купила или вовсе удрал бы подальше да припрятал. А этот — нет.

— Что это у тебя? — спросил вдруг я.

— Книжка.— И он протянул её мне.

На обложке было бушующее море, какие-то обломки и человек, схватившийся за эти обломки.

— «Синдбад-мореход»,— прочитал я вслух и зачем-то поднёс книжку к носу.— Пахнет.

— А книжки обычно не нюхают, а читают,— спокойно заметил Витька.

— Я знаю, но...

— А что пахнет, так есть немного... Сколько её по рукам потаскали... А это, так и знай, раз книжка захватана и пахнет, значит, интересная.

— Да? — удивился я.

— Да. Вот от «Барона Мюнхаузена» остались одни лохмотья, «Гулливер» тоже стал тряпкой, у «Золотого ключика» Толстого приходится подклеивать края и рукой дописывать окончания: всё пообтрепали... Не того Толстого, что с бородой, а другого.

Но ни того Толстого, что с бородой, ни другого, что, очевидно, без бороды, я не знал и вообще при каждой фамилии хлопал глазами, как при выстреле.

— Ты чего так смотришь? — спросил Витька, впервые улыбнувшись.

— А ты всё это читал?

— Думаешь, много? Вот Толя, тот читал...

И тут у меня невольно вырвалось:

— Дай мне почитать вот эту.— Книжку я уже плотно прижимал к себе. Я думал, Витька начнёт ломаться, ожидая, пока я попрошу раз десять.

Но он ответил так, как будто давно приготовился:

— Возьми.

Больше стоять я не мог и бросился к калитке.

— Тёти Лены нет ещё,— остановил меня Витька.

На миг я задумался... Мамы нет... Тогда — к Шурке. И я побежал вниз по улице, к озеру. Дома через три я оглянулся. Витька смотрел мне вслед.

Солнце уже глубоко зашло за горизонт: только у самых высоких облаков днища полыхали малиновым светом и казались раскалёнными. Болотные поляны, разбросанные среди редколесья, как тарелки, наполнялись густым молочным туманом; из лога потянуло сыростью.

Друзей я встретил у ворот Шуркиного дома.

— Мишк, пошли Кольку выручать: Граммофониха на него всё же награммофонила.

— С чего взяли?

— Щас тётка Матрёна сказала: «Берегись, говорит, мать, говорит, прут уже выломала...» Я этой Граммофонихе ночью свинью в огород загоню,— мрачно ворчал Колька. У него было злое лицо. Сперва он порывисто сбивал с репейника колючки, потом поднёс тросточку к глазам и начал отколупывать ленточки и свивать змейки.— Или лучше быка, пусть все пожрёт...

— Да ничего тебе не будет... Вы посмотрите, что у меня есть...

Собственные книги в деревне были редкостью. Школьная библиотека работала только зимой, а на лето закрывалась.

Шурка взял книгу в руки, проверил толщину, рассмотрел картинку на обложке. И Колька задрал голову, чтобы разглядеть.

— В трясину мужик влип,— догадался он.

— Это ж море.

— И в море трясины есть. Да ведь, Саньк, есть?

Но Шурка не ответил. Он раскрыл книгу где-то на середине, прочитал несколько фраз, ещё перелистнул и снова прочитал, потом осторожно закрыл и прикинул ещё раз толщину.

— Вроде интересная... Где взял-то?

— Витька дал, Кожихин... Он мой складень нашёл и вернул и вот книжку дал...

Шурка покосился на меня:

— Ладно, пойдёмте... Книга, может быть, ещё не интересная.

Колька жил недалеко, за старыми ветхими амбарами, подгнившие стены которых подпирались длинными брёвнами. В сумраке они казались громадными застывшими лодками с многочисленными вёслами, погружёнными в землю.

Колькина мать, тётка Акси́нья, тотчас, как мы вошли, накинулась на него.

— Приплёлся, злодей! Ты зачем это гусям Граммофони́хи головы отвинчивал?! — загремела она.

— Я им ничего не отвинчивал,— тихо возразил Колька. Видно, он боялся матери. Такую побоишься — высокая, полная, один голос будто хлещет.

— А что ты делал?

Тут вступились мы и принялись растолковывать ей, что Колька ничего страшного гусям не сделал и что у Граммофони́хи, известно, язык тряпичный, какдохнёт, так тряхнёт.

Но тётка Акси́нья успокоилась не сразу. Усадив Кольку за стол и прикрикнув на нас: «Вам особое

приглашение? Или деньгами надо?» — она продолжала ворчать:

— Кабы господь не создал материнскую любовь, давно бы отреклась от тебя, злодея. Ты из меня все нервы вымотал. Я уж не хожу — будто резиновая, переваливаюсь.

Кольке нет чтобы промолчать, так он ляпнул:

— Это, маманя, ты притворяешься.

Тётка Акси́нья грохнула чугуном о стол так, что оттуда вылетело несколько картофелин.

— Ты ещё издеваться?

Неизвестно, что последовало бы за этим грозным вступлением, если бы Шурка не нашёлся:

— Вы ругаетесь, а его змея цапнула.

— Кого?

— Кольку.

— Да, мам. Я только присел, она... раз, — подтвердил невозмутимо сам пострадавший.

У тётки Акси́ньи плетями повисли руки, она опустилась на лавку возле Кольки.

— Врёте, окаянные, — протянула она расслабленно.

— Врём, — живо успокоил её Колька. — Врём, мам.

Поняв его намерение скрыть происшествие, мы промолчали.

Снова разозлиться тётка Акси́нья не смогла. Ши-



рокой ладонью провела она по волосам сына, пригнувшись, заглянула в его чумазое лицо, чмокнула в щёку и улыбнулась.

— Эх, ребятаё, ребятаё!

Мы не спеша, как сороки, потягивали из чугушка дымящуюся, горячую картошку, перебрасывали из ладони в ладонь, ловя носом пар, торопливо снимали легко отстающий мундир, откусывали и, шипя, пережёвывали — слышалось только похрустывание соли на зубах да швыркание носов.

— Мам, тётка Дарья велела обуться. «Пошарьте, говорит, в кладовках, может, какие отцовские обноски сыщете».

Тётка Акси́нья грустно уперлась взглядом в окно и со вздохом ответила:

— Ладно, сынок, пошарю... Только ведь отцовского у нас ничего нет. В моих будешь таскаться, не грех, земля выдюжит.— И она опять провела ладонью по Колькиным волосам.— Ешь, мужичок мой, ешь.

Смотрел я на тётку Акси́ню и думал: странная. Ведь только что ругалась, кричала, даже чугушком трахнула, а вот уже сидит тихая, спокойная, печальная. И кажется, что тяжесть стопудовая у неё внутри.

Гулять нам разрешалось сколько угодно, поэтому мы не спрашивали разрешения, а просто говорили, куда идём, чтобы при случае можно было сыскать. Если нас предупреждали, чтоб приходили вовремя, то так, не задумываясь, по привычке.

Выпроваживая нас, тётка Акси́нья наказывала:

— Долго-то не шляйтесь, молодцы.— Дала фуфайку.— С Мишкой накройтесь.

Наше гулянье заключалось в том, чтобы встретиться с друзьями, поболтать, посмеяться, потолкаться между взрослых мальчишек и девчат, послушать

их разговоры, выследить какую-нибудь пару и в самый решительный момент, когда они начнут обниматься, страшно пробасить: «Вы чего это делаете?» Так все вечера.

Постоянного места сбора не было. Сходились все туда, где начинала играть гармонь: иногда возле клуба, иногда возле тётки Феокисты, потому что Анатолий лихо владел двухрядкой. Днём эти места легко найти по огуречным огрызкам и по избитому пятками кругу — ни травинки нет, вытопчут чище овец.

Мы шли на звонкий, с колокольчиками, голос митрофановской однорядки. Играл Степан, сын деда Митрофана. Степан принял от деда ремесло сапожника и обшивал всю деревню.

Тучи, собравшиеся с вечера, разбрелись, и лунный свет лился свободно.

Нашей братвы здесь было полно. Кто в фуфайке до колен, кто в одной рубашонке, кто босиком, кто в огромных сапогах — все разместились на жердях и сверху обозревали толкучку. Мы забрались к ним. Жердь затрещала.

— Э, мелочь! — крикнул Степан. — Живо турну.

Пришлось устроиться на траве. Мы рассказали ребятам про убитую змею, вспомнили несколько случаев встреч со змеями, вспомнили Хромушку, о которой знала уже вся деревня. Незаметно переключились на другие мальчишеские дела. Всем очень хотелось поиграть в бабки. Но старые бабки растерялись, а новых не было — скотину не кололи, берегли к началу зимы. Зато весной мы отводили душу. На первых дымящихся «пятаках» земли устраивались настоящие сражения. Налитые свинцом панки, длинные бабки, аж давали трещины — вот как мы били. Они то и дело улетали в снег, ещё лежавший вокруг, мы их выживали оттуда и, грея руки дыханием, сно-



ва метали. Особенно мы любили солнцепёк против школы, на нём ранее всего возникала проталина. И едва уборщица, Марья Фёдоровна, встряхивала колокольчиком, как мы волной выплёскивались во двор и бежали сломя голову к солнцепёку. Вместе с тетрадками и учебниками в наших холщовых самодельных сумках весной всегда лежали бабки... Эти воспоминания прервал чей-то спокойный голос:

— Я вчера ходил по шишки.

— Один?

— Один. Во — шишки!.. Только ещё зелёные. И тут загалдели наперебой:

— Васька, а объездчик-то за нами гнался...
— Чтоб мне лопнуть, с кедра мешок наколотил.
— Знаю я твой мешок — наволочка.
— Что мешок! По четыре мешка с кедра наколачивают.

Подошёл Анатолий.

— Что, митингуете? Наверное, под лозунгом: «Кто лучше соврёт!» — Он обхватил руками сразу пятерых, сжал их и толкнул в середину.

— Мы про тайгу.

— О! Любопытно. И как же, по-вашему, тайга выглядит? А? А вообще вы знаете, что такое тайга? — спросил он, торжественно ткнув пальцем в небо, и с откровенным лукавством уставился на нас.

— Поди уж! — протянул с достоинством кто-то.

— Ну, что? Говорите, говорите.

Ребятишки, увидев выжидательную ухмылочку, втянули головы в плечи и задумались, понимая, что простое человеческое объяснение Анатолий отвергнет.

— Трудно, обормоты? — Он улыбнулся. Даже в бойко задранной кепке чувствовалось, что он торжествует. — Тайга — это советские джунгли.

Во-во, сейчас добавит, что тайга — это пресс-конференция. Джунгли... Признаться, слово звучало красиво и интересно. Подумав, я спросил:

— А что это — джунгли?

— Ого-ого! — воскликнул Анатолий. — Это такая штука, у которой нет ни дна ни крыши.

Легко подбежала запыхавшаяся Нинка.

— Толь, ты что это ребятишек пугаешь? Пойдём-ка...

Нинка уводила Анатолия, но он ещё кричал через плечо:

— Эх, шишкар! Падальника ждёте?! Я б на ва-

шем месте давно с засмолёнными губами ходил, да мне-то нельзя: целоваться неудобно.

Нинка за чуб развернула ему голову и зажала рот. Мы захохотали и закричали им вслед обидные слова: «Жених и невеста!»

Мальчишки постарше держались ближе к кругу. Они подлаживались под взрослых: прятали по одному уху под кепки, с другой стороны выставляли чубы, гоготали басом.

Девки азартно пели частушки, с воем приплясывали, вскидывая головы,— только развевались косынки на шеях. Пыль поднималась выше пояса. Мы сидели в стороне и поплёвывали.

Шурка придвинулся ко мне:

— Мишк, а мы всё же слетаем по шишки, и овечки не помешают.

— Как?

— Заагитируем ещё кого-нибудь в пастухи и попеременно сходим.

Колька, сидевший под другим крылом фуфайки, обернулся.

— Чего это?

— Я говорю — заагитируем кого-нибудь в пастухи ещё и разделимся: одна половина пасёт, вторая — за шишками.

— А кого? — спросил я вдруг и вспомнил: — Саньк, а если этих.— Я высунул из-за пазухи уголок книги.

— «Спаянных кишочков»? — догадался он.— Не получится.

— Почему? А вдруг получится!

Шурка задумчиво теребил мочку уха, точно к ней прилипла смола, и пристально смотрел куда-то между моей и Колькиной головой, потом медленно, будто выписывая слова, заговорил:

— По-жа-луй, Петь-ку... Эй, Васьк, где сегодня Петька?

Пискливый голос ответил:

— Петька сегодня запертый сидит. Его в поле возле комбайна поймали, хотел звёздочку из ящика стащить.

Это он, конечно, для гонялки. Если на звёздочку надеть длинную цепь с хвостом, зажать её в расщеплённый конец палки, то и получится гонялка; а если к палке повыше первой приделать ещё несколько звёздочек, то уже будет машина. Везёшь её, как тачку, на одном колесе, а все остальные вертятся, цепь трещит и вздувается горбами — настоящая машина. Вся беда в том, что негде достать эти звёздочки. Тот, кто случайно находил их, считался счастливым.

— Вдули Петьку-то? — спросил Шурка.

— Вдуешь его!

— Значит, Петьку, — подытожил наш друг. — Я утречком заскочу к нему.

— Вот уж мы с ним зададим... — разгорячился Колька.

Я промолчал. Петька, конечно, дельный парень... Я думал о Витьке, о Толстом, который с бородой, и о Толстом, который без бороды... Витька, наверное, знает много сказок, а ведь так часто хочется послушать длинную, на всю ночь или на весь день, сказку, хоть про что: про чертей и богатырей, про лисиц и хитрых судей, даже про бабушку и дедушку...

Я водил пальцем по корочке книги прямо через рубаху, и мне было приятно так, словно я щекотал себе живот.

Девки и парни принялись играть в разлучки. Ну, сейчас все похватают друг друга, разбегутся и — конец вечерке.

Ребятишки по одному поднимались, зевали и разбредались. Колька дёрнул фуфайку.

— Мишк, айда, а то мне ещё дело...

— Чего это?

— А свинью-то Граммофонихе...

— Иди ты к лешему со своей свиньёй.

— Я ей всё равно впускаю.

Мы встали, потянулись, зябко поёжились и пошли. Отяжелевшей голове и намаявшемуся телу неудержимо хотелось скорее сунуться в постель. Всё же, когда сбоку возникли тёмные галеры амбаров, Колька не свернул к ним, к дому, а, пройдя немного с нами, отделился и шмыгнул куда-то через ограду.

В нашем дворе белела свежая поленница. Возле крыльца горкой лежали ещё не сложенные дрова.

«Э! — подумал я.— Прогулял. Мама наверняка измаялась. Она всегда так: не предупредит, а возище нагрохает до крыши».

Луг затянуло туманом, точно там никогда не было ни болота, ни кустов, ни тайги, а только один туман, море тумана вечно колыхалось и будет колыхаться у нашего Қандаура. Я вздрогнул и заскочил в избу.

— Ты, Миша? — спросил мамин голос из темноты.

Я на ходу скинул сандалии, положил на стол книгу, снял штаны и, юркнув под приподнятое мамой одеяло, ответил ей в самое ухо:

— Я.

Я обнял ее холодными, как у лягушки, руками и ткнулся головой под мышку.

— А как ты одна с дровами?

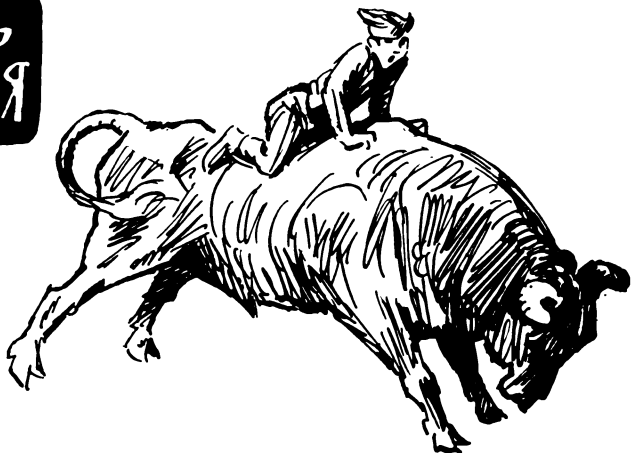
— Мне Витя с Толей помогли.

— А-а,— протянул я уже для самого себя.— Витька... Толстой с бородой...

Я замолчал, но мысли вертелись в сознании. Сироты... Если б я не хотел спать, я бы подкрался к дому Кожиных, неслышно заглянул в окно. Что они делают? Читают?.. Толстой без бороды... Всё вдруг исчезло из сознания, только какие-то цветастые жидкие круги замерцали перед глазами, возникая из ничего и уплывая вдаль. Вот и они замигали, замигали и погасли. Я утонул в пуховой тёплой мгле...



ЧАСТЬ ВТОРАЯ



ГЛАВА ПЕРВАЯ

За тайгой разгоралась заря. Малиновый снизу, красный и жёлтый сверху, полукруг восхода был огромным, неизмеримым — значит, солнце вот-вот появится. Я потянулся, сбрасывая с себя последние путы сна.

Мама таскала воду из озера и сливала в кадку, полуврытую в землю. Я взялся докладывать поленницу.

Веснодельные дрова были тяжёлыми и крупными, некоторые прямо в полчурбака. Я выбирал те, что под силу, и укладывал их сплошным срубом. Ребристые поленья больно резали пальцы. Полуотщеплённые острые лучины, скрыто прижавшись к древесине, ждали неосторожного движения, чтобы вонзиться в

ладонь, но я их различал изло обламывал. Поленница благополучно росла.

Вышла бабушка Акулова, зевнула, перекрестила сперва рот, потом живот, посмотрела по сторонам.

— Эгей, бабушка! С добрым утром.

— С богом, сынок,— ответила старушка, не глядя на меня, отвязала от пояса платок, служивший передником, накинула на голову, подбила под него разломатившиеся непослушные волосы, почесала макушку прямо через платок и спустилась с крыльца.

— Ребятишки ещё спят? — неуверенно спросил я.

— Меньшой давеча шевелился, спрашивал: хлопцы угнали, говорит, овец?

— Нет, не угнали. Вы ему скажите, мол, не угнали.

— Я ему и говорю: нет, мол, не угнали, спи... Нет ведь, егозит... На такой-то перине егозить! Грех божий! Только носы и видно, утопли оба... Нападёт же заботушка на такого мальчика... Вы что, уговорились пасти вместе?

— Нет, но...

Бабушка Акулова не дослушала меня и с богом на губах ушла в огород.

Во дворе появилась мама, гибкая и плавная под тяжестью вёдер. Я бросился к ней навстречу, горячо шепча и кивая на дом Кожиных:

— Мам, баба Акулова говорит, что Витька спрашивал про нас, угнали мы стадо или нет. Неужели ему охота с нами, а?

— Наверно.— Мама поставила вёдра на ступеньку крыльца.— Они и меня вчера спрашивали про вас. Из-за бандита вы теперь знаменитыми стали! А тут ещё змея добавилась... А я у тебя книжку видела. Это чья?

— Ихняя.

— Значит, ты познакомился? Это хорошо. Теперь надо подружиться.

Мне хотелось сказать, что я не против, что мне понравилось, как Витька легко и толково рассуждает о Гулливерах и Мюнхаузенах, но я промолчал.

Солнце уже по пояс выбралось из таёжного плена. Сама тайга, вернее, часть её тёмной кромки растворилась, расплавилась вокруг солнечного полукруга. Мне на миг представилось, что у солнца есть тонкие, хрупкие ручки и оно, с трудом выжимаясь на них, напряжённо поднимается, как мальчишка из погребка.

Мама сварила груздянку с галушками. Пока я, посапывая от удовольствия, ел, она разыскала в сених мои сапоги и, обстукав о косяк, занесла в избу. Последний раз я в них шлёпал весной, тогда же нечищенными и забросил; и вот теперь они стояли пятнисто-серые, ссохшиеся до одеревенения, с загнутыми носками. Даже с тонкой портяночкой нога не лезла. Я тужился, злился и, пока обувался, не раз помянул «добрым» словом всех змей. Ногу давило при каждом шаге. Я морщился, но не охал.

— Ничего, походишь — разомнешь, — успокоила мама. — Не забудь котомку.

— Не забуду. — Чтобы размять, я топал по полу до боли в ступнях.

Под окном щёлкнул бич.

— Это меня.

— Беги. — Мама легко подтолкнула меня к двери.

Я знал, что сейчас она станет у окна и будет наблюдать.

— Ой! — спохватился я. — Книгу-то! — Сбегал в горницу, схватил её и спрятал за пазуху.

Когда я выскочил на крыльцо, ребяташки молодцевато поддёрнули штаны и, желая выгнуть грудь,

выпятили животы. Их было трое: Колька, Шурка и Петька Лейтенант. Я сразу понял: Петька организовал этот куцый строй. Лейтенантом его прозвали за пилотку и брюки-галифе, которые он не снимал с себя всё лето. Вот и сейчас он стоял в боевом наряде, браво надвинув пилотку на один глаз и кося другим. Петьку не смущало ни то, что галифе стянуты где-то под мышками, ни то, что в пилотку вместо звезды ввинчен железнодорожный крестик.

— Смирно! — крикнул он, стоя первым по росту. Ребятишки вытянулись.

— Щас, — вдруг засуетился Колька, быстро сдёрнул сапоги, точно выпрыгнул из них, торопливо поставил рядом и замер.

Мы рассмеялись.

— А знаешь, что за это на фронте делают? — спросил Петька Лейтенант, мигом спугнув со своего лица весёлость, и так выразительно глянул на нас одним глазом, что мы поневоле проглотили смех.

Нет, что делают за это на фронте, мы не знали.

— Расстрел! — резко выпалил он.

— Как?!

— А напрямик. Выскочил из строя? Выскочил. Бац — и каюк! — Петька руками изобразил падение тела и глазом упёрся в нас. Он любил производить эффекты и следить, здорово ли они ошарашивают.

Чаще всего они действительно ошарашивали.

Я до сих пор помню знакомство с Петькой. Он был первым мальчишкой, с которым я познакомился по приезду в деревню.

Но перед этим я узнал Анатолия.

Мы только что сгрузили с машины пыльные вещи и беспорядочно составили их в сених у тётки Феоктисты. Девчонки любопытно глазели на меня из-за стола, а я неуверенно жался к порогу.

— Драться любишь? — вдруг спросил какой-то парень, выходя из горницы.

Я оторопело смотрел на него. Драться мне приходилось с вредной соседской девчонкой, но я скрыл это.

— Нет.

Парень присел. Глаза лукаво шныряли.

— Нет? — с сожалением двинул губами в сторону. — Надо учиться. Наши обормоты лихо сталкиваются. — Я — Анатолий, так сказать, брат через одно колено. Пошли рыбачить.

И он повёл меня на озеро. По скользкому бревну мы перешли на камыш, где и устроились, как в беседке. Гальяны лезли к крючку, словно гвозди к магниту. Поплавок ни на секунду не замирал. Мы прихватили с собой ведёрко, наполнили его водой и пускали в неё рыбёшку.

— Их лучше всего портками ловить, — раздался вдруг над моим ухом незнакомый голос.

Я оглянулся. Передо мной стоял мальчишка моих лет, только гораздо выше, в штанах, до колен промокших и обвитых тиной, точно он пророс сквозь камышовую толщу. Если все человеческие головы по форме разделить на огуречные и тыквенные, то у него была чисто огуречная голова — вытянутая. Я обернулся к Анатолию.

Он задорно подмигнул и сказал:

— А ну, Петро, покажи своё мастерство.

Петька не задумываясь сдёрнул портки, связал узлом штанины, набросал внутрь хлебных крошек и, как был голый, бухнулся в камыш, раздвоив его и головой повиснув над заводью. Быстрое движение рук — и заплатанные штаны, пузырясь и шипя, погрузились в воду. Меня так поразило это безмолвное проворство, что я забыл о своей удочке. Петькино

лицо натужно покраснело, руки неподвижно замерли в воде.

— Хоп! — вдруг выдохнул мальчишка и решительно потянул свой невод.

Червяком перевернувшись на спину, он над головой пронёс штаны и шлёпнул себя ими по ногам.

— Думаешь, нету? — улыбнулся он. — Эге... — Расправил мокрое тряпье.

И правда, в неглубоких складках, оживляя их, трепыхали упругие гальяны. Их было около десятка.

— Вот ведь балбесы, в штаны лезут, — удивлённо проговорил я.

— А ты нырни, открой рот и поболтай языком, — набьётся чище, чем в мордушку... Хочешь, испробую?

— Ладно, друг, верим, — прервал Анатолий. — Ты вот напяливай живей свою амуницию, нечего красотой-то щеголять.

Петька хотел было из штанов вытряхнуть рыбёшку к нам в ведёрко, но Анатолий отвёл его руку:

— Вот ещё, будешь тут поганить рыбу.

Петька безобидно пожал костлявыми плечами и высыпал трепещущих гальянов прямо на измятый камыш, который пропустил их, точно сито. Не спеша надел он штаны, вытянул несколько штук обратно за скользкие, будто намыленные хвосты, живьём пихнул их в рот и захрустел, как сухарями. От этого хруста мне свело губы в сторону и всего передёрнуло. А Петька спокойно проглотил эту нечисть и выплюнул две головы в воду. Стаи рыб, точно пули, пущенные в одну мишень, кинулись к ним и стремительно умчали в глубину головы своих бедных собратьев.

Это был первый Петькин номер. Были и ещё, да где их все расскажешь.

Летом прошлого же года мы частенько забегали на маслозавод, в «машинное» отделение. Это была

пристройка к маслозаводу, где ребяташки постарше гоняли по кругу здоровенного безрогого быка. Его впрягали между двух толстых оглобелей, и он крутил чугунное зубчатое колесо, от которого тянулся вал. Этот вал прямо сквозь стену уходил в здание, где и вращал машины, сбивающие из сливок масло. Так вот, когда мы появлялись, ребята уходили купаться.

— Только чтобы не останавливать быка,— наказывали строго они.— А то будет вам и нам.

— Нет. Что уж, мы совсем...— уверяли мы, пристраивались на оглобли да катались, помахивая прутами.

Нас было трое: я, Петька и Шурка. Колька тогда не поспевал за нами.

И вот однажды, только хлопцы смотались и только мы пристроились поудобнее, я даже фуфайчонку прихватил, чтобы мягче было, как бык остановился и, сопя слизистыми норами ноздрей, покосился на нас.

— Чо пялишься? Крути давай,— спокойно упрекнул его Шурка.

Бык только махнул хвостом. Три прута угрожающе повисли над его боками.

— Но!

Это не помогло. Лишь хвост дерзко промелькнул перед глазами. Мы хлестанули быка, оставляя на боках светлые полосы. Бык нервно передёрнул кожей, точно отгоняя мух.

— Вот уж чисто скотина,— проворчал Петька и подскочил к бычьей морде.— Пойдёшь ты или нет?

Мы ещё несколько раз скрестили свои прутья на мускулистой спине быка, но тот остался неподвижным.

— Интересно, о чём думает эта башка? — вздохнул Петька, влез на оглоблю и вдруг прыгнул быку на спину.

— Куда ты, дурак?! — крикнули мы испуганно, зная, что бык никого не терпит на спине.

Бык сперва резко выгнул хребет, подбрасывая Петьку, потом начал лягаться и рваться из постромок, угрожая разнести на куски всю механизацию.

— Слазь! — орали мы, отступив в прорубу в стене, чтобы в случае чего выброситься на улицу.

Я уже перекинул через подоконник ногу, собираясь крикнуть кого-нибудь из взрослых, — ведь прибьёт бычина Петьку, как божью коровку. Но тут Петька как-то ловко оттолкнулся от ходившей ходуном бычьей спины и шлёпнулся у стены. Мы подскочили к нему.

— Ты что, рехнулся. Он же тебя мог в лепёшку расшибить!

— Ничего, — вставая и отряхиваясь, ответил Петька. — Я его всё равно объезжу! — И двинул кулаком быка между рёбер.

— объездишь на свою шею. Глянь-ка на него!

Бык разгорячённо сопел и косился на нас кровавым глазом, но не двигался. Мы растерянно топтались на месте, не зная, что делать.

— Может, за хлопцами сбегать? — робко предложил я.

— А! — вдруг вспомнил Шурка. — Он, наверное, пить захотел. Они его часто водят на озеро.

Мы медлили. Уж слишком рискованно было освобождать от постромок этукую громадину. Петька решился. Точно забыв бычью спесь и дикость, он подошёл к нему, заглянул в его бездонные злые зрачки и дёрнул супонь. Упругий хомут разошёлся. Петька перевернул его и рывками снял, после того как мы с Шуркой отвязали от оглобель верёвки.

— Может, лучше за хлопцами сбегать? — побаивался я.

— Справимся,— уверил Шурка.

Бык сам направился к дверям смирно, без ярости. Петька выскочил вперёд. Мы, успокоенные, пошли сзади. Дальше случилось неожиданное. Возле выхода, снаружи, впривалку к стене, лежали брёвна: «машинное» отделение достраивалось. Так вот, выйдя, Петька вскочил на них и, как только бык поравнялся с ним, кошкой бросился ему на хребет. Сперва бык опешил, потом как вскинул зад — ноги чуть притолоку не зацепили, на нас даже ветер пахнул. Но Петька успел подвинуться вперёд и вцепиться в мощные складки на шее. Шарахнувшись несколько раз в стороны и не сбросив мальчишку, клещом вцепившегося в спину, бык задрал хвост и с рёвом пустился по улице.

Мы закричали. Из маслозавода выскочили девки, заохали:

— Ой, ведь ужокошит мальчонку!..

— Вот до чего игра доводит...

— Не играл он! — кричали мы. — Он по правде.

— Всё равно, у вас и правда шальная... Ох, матушки мои, что это там? Никак, убили.

Из подворотни выскочила собака и кинулась быку наперерез, тот испугался и круто свернул в чей-то двор. Верхней перекладной ворот Петьку сбило с бычьей спины, чисто состругнуло. Он остался неподвижно лежать в пыли у плетня. Пока мы подбегали, он сел, держа руками окровавленную голову. Кожа выше лба раздвоилась, как губы.

— Я всё равно... его... объезжу,— прошептал он сквозь слёзы.

Петька больше недели лежал в больнице. За это время в колхозе побывала какая-то комиссия. Оказалось, что у наших соседей, в другом колхозе, нету порядочного быка, а у нас их три. Как там сделали —

неизвестно, только после этого в «машинное» отделение ввели кобылу.

И к лучшему, иначе б тот дьявол доконал Петьку.

Да, Петька любил ошарашивать!

Пока ребятишки смеялись над его угрозой: «Бац — и каюк!» — и пока Колька, усевшись на землю, усердно, как девчонка кукол, пеленал свои ноги цветастыми тряпками, я искоса поглядывал на крыльцо Кожиных. Ждал и тревожился: неужели спят ещё? Я говорил как можно громче и даже ни с того ни с сего свистнул, может, резанёт им по ушам, но — нет.

— Ну, айдате, хватит беситься, — перешёл к делу Шурка.

Уходить было нельзя.

— Э, погодите, надо ж огурцов нарвать, — вспомнил я.

— Дуй живо, по-военному, — заметил Петька.

Но я не спешил. Осмотрел капустные вилки, вернее, листья, начинавшие свёртываться в вилки, провёл рукой по мягкой податливой ботве моркови, сорвал несколько перьев лука и тогда только зашарил по огуречным гнёздам. Тяни не тяни, а час между грядок не пробудешь.

Когда я накидывал верёвочную восьмёрку, привязанную к плетню на кол калитки, слышался знакомый скрип дверей. Я оглянулся. На крыльце, в одних трусах, худой, как общипанный рябчик, стоял Витька и растерянно, даже испуганно, смотрел то на меня, то на притихшую троицу.

Никто ни звука.

Я понимал, что тут мне нужно действовать, но как?.. Спасительная мысль явилась! Я выхватил



из-за пазухи «Синдбада-морехода» и помахал им, говоря:

— С собой берём. Можно?

— Конечно,— без раздумий ответил Витька, а взгляд опять — скок-скок — неуверенно-вопрошающий.

Я осмелел:

— Ты, может, с нами пойдёшь?

— Так я в трусах.

— А ты оденься. Штаны натяни, сапоги, если есть, ну и всё остальное,— шагнув к жердевой перегородке, пояснил я, как будто Витька был дикарём, никогда не видевшим никакой одежды.

— Есть! Всё есть! — торопливо, для верности махнув рукой, сказал он и, глянув на моих друзей, тише спросил: — А где мне вас искать?

— Мы подождём, только быстро.

— Я мигом! — И он исчез в избе.

Ребята недоуменно уставились на меня.

— А если он заблудится, кто будет отвечать? — заносчиво спросил Колька.

— Мы! — ответил я. — И ты в том числе!.. Подумаешь, храбрец вояка нашёлся! Где это он заблудится, в трёх талинах, что ли? — рассердился я.

— Ладно вам! — пристрожил Шурка.

А Петька заметил:

— Видели, какие у него ручки? Былинки! Такой в армии сразу пропадёт!

— А с чего бы им раздуться, рукам-то? Ни коров, ни свиней не держали, навоз не чистили, сено не возили! Дрова колоть — нанимают! Огород копать — нанимают! Неужели все городские такие? — с удивлением рассудил Шурка. — А это хорошо, что ты книжку взял! Я Ньюське сулил пересказать, что вычитаем.

Петька Лейтенант склонил огуречную физиономию над моим плечом.

— Должно, сказка?

— Должно,— ответил я. — Вишь, какие волны взбеленились, а этот за мачту ухватился.

Сунулся и Колька, оттянув книжку книзу.

— На наш Кандаур небось две-три такие волны — и с головой.

Скрипучая дверь стремительно откинулась, и на

крыльцо шагнул Витька, в серых брюках до пяток, в ботинках и в белой рубашке.

— Значит, пасти? — проговорил вдруг Петька.

Витька замер на приступке.

— Пасти...

— Ладно, попасём.— Ребята повернулись и неторопливо двинулись к скотному.

Я кивнул Витьке:

— Айда.

Я шёл на полшага впереди, скользя взглядом по земле, видел только Витькины шныряющие ботинки, носки которых черно сверкали, будто смазанные гусиным салом. Чувствовал, что и Витька смотрит в землю.

Колька изредка оглядывался, перекидывая ружьё с плеча на плечо, и что-то говорил Шурке.

— А почему Толька не пошёл? — спросил я.

— Он сегодня занят.

— Чем?

— Он модель делает.

— Кого?

— Модель планёра. Не настоящий планёр, в котором люди, а маленький, но тоже летающий.

— А как это он?

— Он умеет... Третий день возится, сегодня кончит.

— И полетит?

— А как же.

Меня разжигало любопытство. Я вспомнил Колькин рассказ.

— А... Это, наверное, ж-ж-ж...— Я шоркнул ладонь о ладонь.

Витька улыбнулся.

Мы впервые так близко встретились взглядами, и я различил, что глаза у него голубые, до того голу-

бье, что у меня, наверное, голубеет лицо от его взгляда.

— Нет, то — муха, а это совсем другое... Вот у самолёта есть пропеллер. Знаешь?

— Знаю. Он вертится и тянет самолёт.

— Да. А у планёра нету такого пропеллера. Его самолёт на буксире утягивает в воздух и там отцепляет. Планёр летит сам, он лёгкий.

Для меня это было ново и интересно. Но чем больше я спрашивал, тем больше было непонятного.

Дед Митрофан встретил нас радостным восклицанием:

— Ого! Целой гвардией нагрянули. Дело-то в аккурат идёт!

Пройдя конюшню, мы остановились у окошка. Шурка втиснулся было в него, но Витька вдруг сказал:

— Дайте я пролезу...

Шурка замер в окошке, неудобно заломив шею, повернув голову, и покосился на Витьку.

— Что, нельзя? — растерянно спросил тот.

Шурка вылез из щели, окинув Кожина взглядом, и вздохнул.

— У тебя ничего похуже не нашлось?

— Чего — похуже?

— Да всего: и штанов, и рубашки... Побарахлистее.

— Нету побарахлистее.

— Здорowo... Ну, лезь. Только не бойся овец, ори на них шибче.

Витька свободно проскользнул меж брёвен и очутился перед голодными овечьими глотками. Овцы хлынули к нему, бляя с дрожью в голосе и напирая, точно он был дверью на улицу. Витька, раскинув руки в стороны, безмолвно и плотно прижался к стене. Не-

которые овечки опробовали на вкус его штаны; один баран, видя неподвижную смиренность человека, храбро выставил вперёд полозья рогов.

— Ты что застыл, как Иисус Христос на кресте! — закричал подоспевший Шурка и отогнал овец. — Это же свой, куда жмёте! У... морды! Пнул бы как следует. Долго ли рогом кишки выпустить.

Когда вышли на солнце, во двор, разглядели, что брюки у Витьки измусолены овечьей слюной, на белой рубашке сзади чернели полосы, ботинки потускнели.

— Боевое крещение, — подытожил Петька Лейтенант.

— Жалко, что у вас нет побарахлистее одёжи, — ещё раз сказал Шурка. — Ничего, будет.

Витька покраснел, отряхнул штаны.

— Толя теперь меня не узнает.

Мы впятером шли по улице, шагов на десять друг от друга. Чертило оглядывался — такую цепь ему не удастся пробить.

С литовками за плечами, с узелками, из которых торчали зелёные горлышки бутылок с молоком да кончики брусков, шли к месту сбора бабы, не сторонясь стада, прямо против течения. Овцы обтекали их, как поток камни, смыкались снова и тесной волнистой гурьбой трусили по дороге.

— Как житьё, ребятьё?

— Хорошо, — отвечали мы.

— То-то... Ну, передавайте привет.

— Кому?

— А кто встретится.

Шли дальше.

— Тётка Василиса, вам привет!

— От кого?

— Бабы тут проходили.

— А ну их к лешему, баб. Вы мне от мужика весточку достаньте...

Дома кончались, и мир тотчас раздвинулся. Всё стало ясным и досягаемым: и тайга справа, и пшеничное поле с грядами колков слева, и Клубничный березняк прямо. Почему у человека только два глаза и оба с одной стороны? Надо штук пять, со всех сторон, чтобы видеть сразу всё вокруг, а не вертеть головой; это, конечно, не трудно, но, пока разглядываешь одно, другое, только что увиденное забывается, и приходится опять оборачиваться.

Овцы свернули в лог. Впереди на дороге, отыскивая зёрна, скакали и каркали вороны. Я не люблю больших птиц. В них теряется вся птичья аккуратность, игривость и лёгкость. И голос: не тонкий и волнующий, а гнусавый и ругательский. И смотреть-то на них безрадостно: не птицы, а крылатые идолы. Я швырнул в ворон огрызком огурца.

Спускались вниз недалеко от кладбища. Колька приблизился к Витьке.

— Вон, смотри, ваш крестик, беленький. Вон,— показал он.

Я шлёпнул его по руке и крутнул пальцем у виска: мол, пень ты, Коляй, берёзовый, а Витька спокойно ответил:

— Я знаю, где наш крестик.

Он, может, на время забыл о матери, так нет, напомнить надо, чёрт пельменноухий!.. Чтобы сбить, наверно, неприятную паузу, Витька спросил у меня:

— А что надо делать, чтобы пасти?

— Что делать? — повторил я и сразу вспомнил пресс-конференцию Анатолия, которая нам ничегошеньки не дала, поэтому ответил просто: — Надо следить, чтобы овцы не лезли куда не следует и чтобы

не терялись — вот и всё!.. Ну и защищать их в случае чего!

Петька услышал наш разговор.

— Ты вот что,— приблизившись к Витьке, с тайным лукавством проговорил он,— забегай сбоку и лай — гав-гав! Главный овечий страх — перед собакой! А у нас её нету! Столько пастухов — и ни одной собаки!

Кожин, сперва любопытно слушавший его, нахмурился и ответил:

— Зато у вас верблюды есть.

— Кто?

— Верблюды!

— Какой верблюд?

— Двуногий.

Петька удивлённо пожал плечами:

— Никакого верблюда у нас нет. Э, ребя, он говорит, что у нас есть верблюд!

Мы тоже оказались в недоумении, но Шурка вдруг рассмеялся.

— А ведь есть!

— Где?

— Это ты, Петька.

— Я?

Витька улыбнулся и простодушно подтвердил:

— Конечно, ты. Кто считает других глупыми, тот — верблюд.

Мы с Колькой захохотали, а Петька, сдёрнув вдруг с головы пилотку с железнодорожным крестиком и крепко зажав её в руке, свирепо перекосил огуречную физиономию и надвинулся на Витьку.

— А ты, неженка, чуешь это? — И он подпёр кулаком Витькин нос.

Шурка отвёл Петькину руку:

— Не прикладывайся, коль заработал.

Но Петька продолжал угрожать.

Витька стоял немой и бледный, не отступая, не защищаясь и не отговариваясь.

— Ты же его первым к собакам причислил,— упрекал я, размахивая руками.

— Я его к собакам не причислял,— начал уступать Петька.— А знаете, что за это на фронте делают?

— Знаем. Расстрел. Бац — и всё! — готовно ответил Колька, не принимавший ни Петькину, ни Витькину сторону. Втайне ему, наверное, хотелось драки.

Но Петька промолчал. Он только поддёрнул свои ушастые галифе да прижал их к телу локтями.

Мы брели по мокрой, росистой траве, как по мелководью. Сапоги мои размякли и перестали жать, хотя носки остались загнутыми, как у лыж.

День снова обещался быть солнечным, тихим, душным. Шурка уверенно заметил:

— Ох и трахнет грозища после таких деньков, ох и трахнет! Только берегись!

Колька жаловался, что не удалось отомстить Граммофонихе. Он до полуночи разыскивал свинью, но не нашёл. Правда, у соседа в ограде пыхтел здоровенный хряк. Но едва Колька подобрался к нему, чтобы сперва уговорить, задобрить, а потом потихотьку выгнать, как этот хряк пронзительно завизжал, будто его режут. Выскочила хозяйка. Кольке пришлось отсиживаться в тени, а затем огородами прокрадываться на другую улицу, чтоб не потревожить проклятого кабана, а то он опять всполошится. Но пусть! И это он учтёт, и то, что три раза свалился в крапиву — щёки даже подушками вздулись. За всё сразу оплатит.

Петька его поддержал, сказав, что дело стоящее,

что это по-военному — мстить, и что он, Петька, поможет, потому что у него самого есть зло на Граммофонику.

Где-то загудел мотор самолёта. Шум нарастал. Самолёт появился со стороны полей, небольшой, с двумя ярусами крыльев. Он шёл низко, точно собирался приземлиться и выбирал место. Но над болотом набрал высоту и уплыл куда-то за тайгу.

— Что это он здесь болтается? Летел бы на фронт, там небось нужнее, всё лишнюю бомбу швырнул бы,— проговорил Петька, взглядом проводив самолёт.

— На фронте и без него хватает. И не таких, а быстрых. А этот как супоросная свинья. Фрицы их только и поджидают, чтоб сбить,— рассудил Шурка.

— Так ведь и быстрых тоже сбивают,— вставил я.

— Быстрого не собьёшь,— вмешался Колька.— Ага ведь, Шурка?.. Это вроде ласточки, ага ведь, Шурк?

— Ещё бы! — убеждённо сказал Петька, будто его спрашивали.

— Нет! — перебил вдруг Витька.— Нет, неправда... И быстрых сбивают. Мой папа летал на истребителе... Сбили!

Мы разом оглянулись на него и несколько мгновений рассматривали его, словно он упал к нам с неба.

— А как? — спросил я.

— Об этом не писали.— Витька вздохнул.— Погиб геройски — и всё.

— Геройски? — уважительно переспросил Колька.— Может, он таранил?

Витька пожал плечами.

Налетел порыв ветра, волной прокатился по Клуб-

ничному березняку, раздувая зелёное пламя листьев, и, обессилев борьбой с ними, застыл где-то в вершинах.

— Конечно, и быстрых тоже...— замялся Петька.— Но всё же...

Мы спустились ниже, к болоту, к самым зарослям. Где-то рядом стучал дятел. Я прислушивался, искал глазами, но напрасно. А дятел всё тук-тук, тук-тук. Колька швырнул наугад сучком, дятел смолк: или притаился, или улетел.

— Может, читать будем? — спросил я.

— Сыро,— ответил Шурка.— Уж читать, так сидя, с толком.

— А мы на ногах,— предложил я и потянул из-за пазухи книгу.

Петька смахнул с одной из кочек росу, уселся и сказал:

— Ну, кто там жил да был?

Мы не стали рядиться, кому читать книгу. Я сразу протянул её Шурке. Он передал мне бич и открыл первую страницу, открыл и принялся рассматривать.

— Ты что, про себя вздумал читать?

— Нет, тут картинка.

— А коли картинка, так всех обноси.

Шурка повернул книжку к нам. Посредине листа была нарисована огромная птица с горбатым, будто переломленным носом. Эта птица летела по ущелью, дно ущелья пропадало в темноте, а вершина — в облаках.

— Я уж знаю,— заявил Петька.— Мужик — как его? — а, Синдбад. Синдбад начнёт целиться в эту ворону, а она взмолится: «Ой, не стреляй в меня, я тебе пригожусь».

— Ага? — вопросительно глянул на Витьку Колька.

— А вы не гадайте, как цыгане, лучше по порядку.

— Поди, сам не знаешь...

Шурка перелистнул и принялся читать:

— «Давно-давно жил в городе Багдаде купец, которого звали Синдбад. У него было много товаров и денег, и его корабли плавали по всем морям. Капитаны кораблей, возвращаясь из путешествий, рассказывали Синдбаду удивительные истории о своих приключениях и далёких странах, где они побывали. Синдбад слушал их рассказы, и ему всё больше и больше хотелось своими глазами увидеть чудеса и диковинки чужих стран. И вот он решил поехать в далёкое путешествие...»

Я почувствовал, что Витька дёргает меня за локоть.

— Дай, пожалуйста, мне бич.

Я держал кнутовище под мышкой, не оборачиваясь, ослабил руку, и Кожин вытянул его. Затем Витька крадучись отделился от нас и побежал вверх, к Клубничному березняку.

— Куда это он? — спросил тихо Петька.

Шурка оторвался от книжки и свистнул. Витька остановился, обернулся и прокричал:

— Вы читайте, читайте... Я овец постерегу, а вы почитайте.— И он побежал дальше, волоча за собой бич, временами неловко, стороной, выбрасывая его вперёд.

— Ишь ведь понравилось,— заметил с улыбкой Шурка.— Ну ладно, где я тут отнялся... А, вот.

У Кольки уши торчком, он их ещё ладонями оттопырил, чтобы было слышнее. Ружьё он держал в обнимку, прижатым к плечу.

Петька слушал, глядя в землю и скребя ногтем железнодорожный крестик на пилотке.

Шурка читал не торопясь и не запинаясь, правда, без выражения, но и люди и животные представлялись нам живыми.

Доставалось же Синдбаду. То он высаживался на остров, который оказывался рыбой, то попадал в когти к гигантской птице Рухх, которая кормит своих птенцов слонами, то встречался с великаном и выкалывал ему глаза. И ещё, и ещё. И всегда все спутники Синдбада тонули, а он спасался. Это, пожалуй, не сказка, а враньё, но всё равно интересно. А вдруг вот этот бугор, на котором раскинулся наш Кандаур, вовсе не бугор, а рыба, и сейчас она шевельнётся. А из болота возьмёт да и выползет змеища, выберет самого жирного из нас, наверное Кольку, и сожрёт... Мне начинало казаться, что это не Шурка читает, а сам я сочиняю и рассказываю.

Стадо ушло далеко. Мы спохватились и пошли широким шагом вдогонку, разминая затёкшие суставы.

— Зачитались? — встретил нас Витька.

На его щеке мы заметили малиновую полосу от виска до подбородка.

— Что это? — спросил я.

Витька плечом прижался к щеке, потом дотронулся рукой:

— Заметно?

— Горит прям.

— Бичом... У вас тут есть один баран, какой-то недоразвитый, — старается удрать. Я сперва кричал на него, потом стал грозить, потом уж и размахнулся, да вот... Заметно, говорите? Толя сегодня ахнет.

— Боевое крещение, — снова ввернул Петька. — Дай-ка.

Он взял бич, отошёл от нас, крутнул над головой, дал руке движение вспять — и бич выстрелил. Петь-

ка важно молчал. Вдруг Колька отломил тонкую, длинную тальниковую ветку, зажал её в кулак, дёрнул против «шерсти» и сбил все листья, кроме одного на самой вершине.

— А вот гляньте,— вытянул руку с веткой.— Шурк, щёлкни-ка.

— Да ладно.

— Ну-ка, ну-ка,— заинтересовался Витька.

Тогда Шурка взял бич, откинул назад, посмотрел, как он лежит, быстро перебросил взгляд на обвисший листик и рванул кнутовище; бич мелькнул — листик с треском отвалился, ветка почти не дрогнула.

— Удивительно! — проговорил Витька.

У меня дрожь пошла по спине от гордости за Шурку. Всегда гордишься товарищем, когда он делает что-нибудь славное. Так и хочется крикнуть: «Вот какие наши!»

Петька тоже решил отличиться. Он поднял листик с перебитым корешком и протянул Кольке.

— Подержи-ка, я тресну.

— Прямо в руке?

— А то как же!

— Нет уж,— отмахнулся Колька.— Огреешь меня, глаз-то вон косит из-под лодки-пилотки.

Неожиданно Витька сорвал с берёзки лист и, взяв его за кончик, отвёл в сторону.

— Бей!

Мы насторожились, глядя на него. Петька только хлопал глазами, будто с испуга, потом спросил:

— Прямо в руке?

— Конечно. Ведь ты хочешь прямо в руке?

— Нет.— Петька опустил бич.— Я взаправду могу смазать, а смажу да по руке — это сразу кровь, как на войне. Нет!



Шуркино предсказание начало оправдываться с полдня.

Сперва небо устилалось лёгкими серенькими облачками, которые проплывали хотя и густо, но высоко. Потом тихой сапой подобрались тучи. Они немой тёмной ордой вырвались из-за бугра и живо заволокли всё над головой. Но дождя не было. Тучи ломились, напирали, а хоть бы капля упала, только Клубничный березняк раскачивался да шумел. Это всегда так: в небе тучи битком — значит, дождя или совсем не будет, или затянется дня на три, мелкий, почти невидимый, частый и противный.

А нам было хорошо. Солнце не пекло, а прохлада только бодрила.

Приближался вечер, но небо не расчищалось. Тучи ползли и ползли, тайга их равнодушно глотала, а они всё лезли.

Мы гнали стадо домой. Колька измотался в своих сапожищах и устало, молча плёлся сзади, изредка окликая нас:

— Куда прётесь-то? Поспеем...

Петька оборачивался и безжалостно издевался:

— Эх ты, вояка! Размяк... А если тебе ещё пулемёт на горбушку присобачить?

— Присобачивай себе, — огрызался Колька. — Вот погоди, увидит тебя босиком тётка Дарья, даст жару, и штаны-бутылочки полетят... Ну, куда прётесь?

Витька нёс бич и с опаской изредка щёлкал им. На щеке его появилась ещё одна пухлая полоска, поперёк той, первой. Витька изредка охлаждал руку в сырой траве и прикладывал её к малиновым горящим опухолям.

Я шёл рядом с ним. Мне хотелось говорить Витьке что-нибудь приятное, чтобы он радовался, чтобы отвечал мне, но ничего путного не лезло в голову. И только когда он вскидывал бич и палил, я охотно замечал:

— А сейчас лучше...

— Да?

— Да.

— Зато щека ноет.

— Завтра же пройдёт. Мне как-то Колька по ноге резанул — бич так винтом до коленки и закрутился, рубцы аж в палец толщиной вздулись, а утром всё сравнялось. Зудилось два дня. Так зуд, что он? Чешись да чешись — одна приятность...

— Ничего, у нас целая полка лекарств, намажу чем-нибудь.

— Что же делать будем сегодня, а? — вздохнул Петька.

Что делать вечером?

Ни перед кем так прямо и необходимо не возникает этот вопрос, как перед нами, мальчишками. У взрослых всё получается само собой. Придут они с работы, и дела сами бросаются им в руки, только проворачивай. А что нам? Ну, принесём воды, ну, ломая ногти, торопливо нароем в огороде картошек, ну, бегом подтащим к печке поленьев и, зубами вгрызаясь в горькую берёзовую кору, надерём берёсты на растопку — и всё. Но ведь это пустяк, на это полчаса. А потом? Всяко у нас складываются вечера. Иногда — чижик, хлещем до тех пор, пока не зашвырнём куда-нибудь самого чижики, а там и лапту побоку: квадрат на земле не различается — темно. А то наладимся «попа гонять по улице». Гуси порассядутся у плетней, позасовывают головы под крылья, а мы лавиной катимся с криком да стуком. Птицы уже обуче-

ны, погагакают и — под ворота. Последний беспокойно оглядывается, не летит ли в него дубинка. Но самое интересное бывает в осенние вечера, когда мы забираемся на колхозный сеновал, что на скотном дворе. В огромном ворохе сена мы, как кроты, роем тесные норы вдоль и поперёк, снизу вверх, соединяем, путаем их и ползаем по этим ходам, встречаясь в пыльной горькой темноте и ошупью пытаюсь узнать друг друга, воем по-волчьи, ухаем по-филиньи, мяукаем, просто кричим. Не хватает воздуха, чешется до кашля в горле, колет и режет за шиворотом от накрошившейся туда сухой трухи, но всё это только усиливает наш азарт. Ни одна игра не могла нам заменить эти блуждания в шуршащем податливом сене. Дед Митрофан гнал нас от сеновала, подкарауливал, но если уж мы забирались в него, то выудить нас оттуда не было никакой возможности. Сейчас сеновал пустует, не пришло ему ещё время полниться.

— Ну, что же делать-то будем? — переспросил Петька Лейтенант.

— Я вот щас приду домой, хлобыснусь на пол и три дня не подымусь,— сообщил Колька.— И дыханье зажму, и мёртвым представляюсь, пусть мамка не суёт в другой раз эти чуни.

— Давно бы скинул, чем ныть-то,— упрекнул Шурка.

— Нет уж.— Колька швыркнул носом.— Я уж как-нибудь доплетусь, хлобыснусь на порог и дыханье зажму...

— Заладил,— перебил Петька.— Давайте лучше сегодня бузить! Кому-нибудь выхлестнем стекло или трубу с крыши заткнём, а? А!! Давайте Граммофонихе отомстим! Кольк! — Он схватил за руку ешедшего Кольку.— Давайте придумаем такое, чтоб она заикаться начала! — Петька оборачивался то к

одному, то к другому.— Слышали, что она про меня болтанула? Не слышали? Что я — вор! Что я у неё все яйца перетаскал. Её куры от меня шарахаются. Раз, говорит, шарахаются, значит, знают они меня, значит, яйца я таскаю. А от меня не только куры, но и собаки шарахаются, что же, выходит, что я и собак ворую?.. Хы! Вор!

— А я, говорит, гусям её головы свинчиваю, как гайки,— припомнил Колька.

— Во-во! Мы ей покажем!

Колька оживился. Его кислая, унылая физиономия обратилась в ликующую и радостную. Он сразу позабыл про тяжёлые сапоги.

— Здорово! — воскликнул он.— Надо её на кладбище заманить, а самим нарядиться в белое.

— Ага,— говорю я.— Заманим мы, а ты в белое наряжайся и ступай к мертвецам.

— Почему я? — заволновался Колька.— Лучше Петьку. У него вон штаны военные, черти его побоятся.

— А что? Я пойду! — не моргнув глазом, ответил Лейтенант.

Я был уверен, что Петька в самом деле пойдёт, закутается в простыню и пойдёт на могилки и не только Граммофонику, но всех чертей и ведьм, если они там есть, насмерть перепугает. Но Граммофониха... Её ведь туда никакими приманками не затянешь.

Я так и сказал ребятам.

Шурка поддержал:

— Да-а, на могилки её не заманишь. А её можно и без могилки, дома пробрать! Знаете как? — И Шурка предложил план, который мы с восторгом приняли.

Возле нашей ограды разошлись, договорившись собраться у меня.

Мама ещё не было.

— Может, к нам заглянем? — предложил вдруг Витька.— Модель посмотришь. Толик, наверно, закончил её.

— У меня сапоги грязные.

— Разуешься. Пошли.

В сенях я разулся, открыл дверь и сразу же запутался в марлевой занавеске, спускавшейся с при-толки прямо до пола.

— Ничего-ничего! — успокоил меня Толька.— Это от мух, а не от людей. Ты что ж, Витёк, не предупредил гостя!

Из горницы вышла бабка Акулова с подушкой в руках. Она, очевидно, всё ещё перетрясала залежавшиеся вещи, может, уже во второй раз.

— Явились, христовые. О господи! Рубашка-то, рубашка!

— Вы на штаны гляньте, на ботинки, на лицо! — почти с гордостью перечислял Витька, поворачиваясь на свету.— Хорошо? — Тут он вдруг поймал Тольку за рукав.— Толик, а как я научился бичом щёлкать! — Он поглядел на меня.— Миш, ты чего стоишь? Иди сюда, скажи, крепко у меня получается?

— Крепко,— ответил я, продолжая стоять у порога и оглядывая всё вокруг.

Справа от двери стояла громоздкая русская печь, такая же, как у нас. Слева у окна висела полка, полу-закрытая марлевой же шторкой, уставленная многочисленными разноцветными флакончиками с бумажными наклейками. На краю полки я неожиданно увидел воронку, ту самую, через которую Кожиха вливала себе в рот чай. Мне вдруг стало так не по себе, что я бы, наверно, утёк, не будь сзади занавески.

— Смотри-ка! — отвлёк меня Витька, показывая рукой за печь.

Я сделал несколько неловких шагов и, вытягивая

шею, заглянул в угол. То, что я увидел, было совершенно неожиданным. На гвозде, вбитом в стену, на шнурке висела какая-то белая худенькая и чуть прозрачная штуковина, похожая на самолёт, с крыльями: два спереди и два в хвосте. Крылья были обтянуты тонкой папиросной бумагой, такой же, из которой мы с мамой мастерили под Новый год ёлочные игрушки. Сквозь эту бумагу виднелись рёбрышки, тоненькие-тоненькие. Крылья соединяла рейка в карандаш толщиной, а впереди, в самом начале, — нос, широкая, с ладонь, фанерная лопатка.

— Модель?

— Модель, — ответил Витька. Он подошёл к планёру, снял его со шнурка, взялся за середину и, уравновесив на пальце, стал покачивать, будто взвешивая.

Я вдруг, сам не зная с чего, дунул в крыло. Планёр проворно перевернулся и, прежде чем Витька успел подхватить его, шлёпнулся спиной на пол, только прошуршала папиросная бумага.

Я остался неподвижным, испуганно хлопая глазами.

— Как же так? — спросил тревожно Витька.

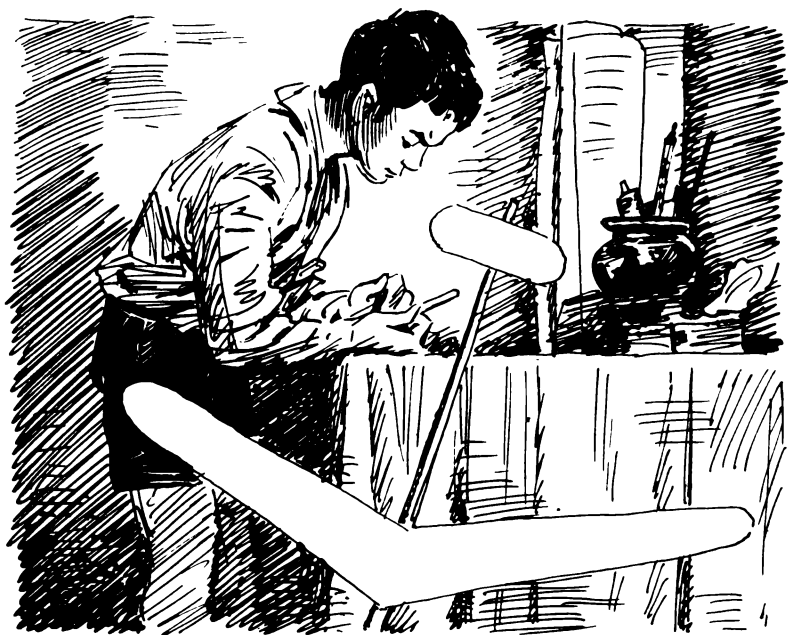
Я молча помотал головой из стороны в сторону: мол, не знаю, как это получилось.

Витька вдруг рассмеялся, живо подхватил планёр с пола и повесил его на место.

— Думаешь, он сломался?.. Нет! Если он от этого будет ломаться, то что же с ним станется, когда мы его с крыши сбросим... Толь, он просох?

— Не совсем... Вы перейдите с Мишей к окну, я тут сор немного подберу.

Бабка Акулова, задевая отзывчивую заслонку, возилась у печи, ворочая ухватом, собирая на стол. Толька заметал в кучку мелкие стружки и собирал



их в ладонь, согнутую ковшичком. Ладонь была забинтована.

— Наверное, ножом зацепил,— сказал я потихоньку Витьке.

— Нет. Это мы вчера помогали тёте Лене дрова складывать, и он занозился. Длинная заноза, пришлось даже кожу бритвой резать.

Вот, значит, я шатался где-то, а тут... Мне вдруг захотелось сделать для Кожиных что-нибудь такое, чтобы при этом или раздробить себе палец, или нажать здоровенную шишку, или ещё что-нибудь в этом роде, и я спросил:

— А вам дрова скоро привезут?

— Ну как скоро? Когда наймём, тогда и привезут,— ответил Витька.

Зажгли лампу, и на улице мигом потемнело, точно вся темнота сгрудилась у окна, чтобы только посмотреть на керосиновый огонёк.

Раздался стук в окно. Все оглянулись. К стеклу прилипла чья-то физиономия и вращала глазами. Выше приплюснутого носа блестел железнодорожный крестик.

— Петька,— спохватился я и выбежал.

У ворот стояли Петька с Колькой, а у ног их на земле лежала здоровенная тыква.

— Ого! — удивился я.

— В самый раз! — гордо заявил Петька.— А это, «спаянные», придут?

— Ничего они не спаянные, а нормальные! А Только знаешь какую модель сделал!

— Кого?

— Модель.

— Какую модель?

— Такую! Она летать будет!

Прибежал Шурка. Петька подхватил тыкву, и мы ввалились в наш двор. Мама уже была дома и что-то, как всегда, жарила. Друзья уселись на коротыш к печке, я на миг прильнул к маме и присоединился к ним. Шурка взял мой складень и начал потрошить тыкву, вырезав у неё четвертушку, чтобы просовывать руку внутрь.

— Уши, Саньк, продырявь,— предложил Колька.

— Не к чему. Уши спереди не увидишь.

— Тогда брови какие-нибудь этакие! Эх, зря я оставил дома свой сапожничий! — Чувствовалось, что Кольке здорово хотелось встряхнуть Граммофону.

Тыква принимала мрачный, пугающий облик: решётчатый оскал зубов, тонкий длинный нос, огромные провалы глазниц. Шурка то и дело отводил эту

скелетную образину в сторону, прищулив глаз, пристально рассматривал её, неудовлетворённо двигал губами и опять брался за нож, терпеливо, чётточку за чётточкой, добавляя ужас в тыквенный череп. Мы, окружив Шурку, дивились и радовались.

— Хватит, Саньк, а то перебацишь,— заметил Петька.

Перелез через ограду Витька.

— Ты посмотри на эту морду,— подтолкнул я его.

— У!.. В городе на электрических будках вот такие же физиономии намалёваны. По-моему, вашей Патефонихе дурно будет!

— Вот и пусть! — сказал Колька.

— А может, не надо? — усомнился Кожин.

— Кому не надо, а кому надо,— рассудил Шурка.— Мы не заставляем.

— Как бы чего не случилось, если сердце слабое,— предостерёг Витька.

— У кого сердце слабое, у Граммофонихи? — изумился Петька.— Да у неё дизель, а не сердце! Это ещё надо посмотреть, что она в себя вливает: чай или солярку! Хых, слабое!

— Не знаю, не знаю! — по-матерински оговорился Витька и глянул на меня, словно ища во мне союзника.

Вообще-то лично мне Граммофониха никакого зла не причинила, и у меня не было на неё зуба, если задуматься, но поскольку остальные пацаны кипели местью, то и мне казалось, что я тоже крайне обижен этой тёткой и не просто за компанию участвую в деле, а из кровного интереса.

Мама подозрительно покашивалась и на нашу поделку, и на наши энергичные перешёптыванья, потом спросила:

— Это куда же вы снаряжаетесь?

— Играть, тётка Лена,— простецки соврал Петька и тут же расписал придуманную вмиг игру.— Это вроде партизан. Двое несут тыкву, у тыквы глаза красные, а двое из-за угла в неё картошками швыряют. Если, значит, тыква уцелеет, то победили, а если треснет, то — разгром.

На улице уже окончательно стемнело, но темнота была не плотной, а жидковатой, ранней.

Мы, разгорячённые предстоящей местью, шли сперва по дороге открыто, болтая и смеясь, но потом подвинулись ближе к плетням и свели разговор на полушёпот, и только отдельные вспышки смеха звенели неожиданно громко. В нас легко было разгадать людей, замысляющих зло. Чего это ради мы лезли в тень плетней и так осторожно двигались? Конечно, замыслили преступление! Лёгкая тревога копошилась в сердце, и ещё более хотелось творить что-нибудь необыкновенное, озорное. Встречных было мало, в домах ещё не отужинали.

Грамофониха, как и Шурка, жила у озера, но несколько дальше.

— Как бы этот дурак боров не расхрюкался,— озабоченно проговорил Колька.

— Надо разведку снарядить, как на фронте. Это уж твоё дело. Ты с ним раз снюхивался, ступай ещё раз выследи.

Колька отдал мне палку, на которую предстояло насадить тыкву, чтобы поднять её повыше, и отделился от нас. Мы остановились в лопухах между избой Грамофонихи и её соседей.

— Будем действовать прямо с улицы,— сказал Петька Лейтенант.

— Ты постой, не торопись,— возразил я.— Может, лучше с огорода? Чуть чего — бац в картошку, и нас нет.

— Не пойдёт,— сказал Шурка.— Огородное окно — из горницы. Жди, когда Граммофони́ха в горницу заглянет.

Вернулся Колька.

— Ну?

— Боров в хлеву чавкает. А в избе собирают на стол, я заглядывал.

— Айда! — скомандовал Шурка и направился к дому, держа тыкву под пиджачком.

Мы цепочкой, как овцы в узком месте, двинулись за ним.

— Да,— обернулся он,— чтоб не спорить, сразу уговоримся, кому что. Я подымаю тыкву, Петька держит Мишку, Мишка глядит в окно. Колька и вот ты,— обратился он к Кожину, который после некоторых колебаний всё же присоединился к нам,— следить по сторонам.

— А если я — смотреть? — заикнулся Колька.

— Ш-ш-ш,— шукнул Петька.— Мне тоже не баско шею подставлять.

Мы действовали быстро. Тыкву насадили на острую палку, засунули внутрь через глаз паклю, пропитанную керосином. Колька держал наготове спички, ожидая моего сигнала. Важно было не просто сунуть тыкву в окно, а увидеть, что случится там, в избе. Я схватился за оконный наличник, подтянулся. Петька головой подпёр меня сзади. Утвердившись таким образом, я медленно ввёл голову в полосу света, падавшего из окна. Лампа горела ярко, и внутренность кухни сперва представилась мне наполненной сплошным огнём. Проморгавшись, я увидел двух тёток за столом: одну — лицом ко мне, другую — спиной. Одна поднялась и пошла к печке. Это Граммофони́ха. Руки у меня от волнения дрожали. Я кивнул Кольке. Он живо чиркнул спичкой, сломал её.

— А! — не выдержал Шурка.

— Щас... — Колька достал вторую, чиркнул, сломал. — Нате, нате, — торопливо проговорил он, передавая коробок Витьке.

— Мишк, ты придерживайся малость, — зашевелился подо мной Петька. — У меня ведь шея не бычья — плющится.

Витька зажѣг спичку и через нос бросил её в череп. Маска, бесформенная в темноте, выявилась вдруг во всей своей жути. Глаза, круглые и большие, острый филиний нос горели, резко вырисовывая на бревенчатой стене избы дрожащие золотые пятки. Особенно страшными были зубные прорези. Пакля начала чадить, и через глазницы повалила копоть.

Шурка поднёс горящую тыкву к окну. Я следил. Граммофониха, поддев ухватом чугунок, семенила от печи к столу. Я осторожно, как птичка клювом, постучал ногтем по стеклу. Граммофониха оглянулась и вдруг, резко выпустив ухват, вскинула руки и стиснула ими голову. И тут же раздался пронзительный визг. Я только видел, как упал чугунок, что-то выплеснув на пол, и как вскочила вторая тётка. Больше я не видел ничего. Петька выдернулся из-под меня, и я шлёпнулся на землю. Ребята удирали вдоль плетней. Я подхватил оставленную ими палку и пустился следом. Шурка бежал последним, таща горящую тыкву. На ветру пламя разгорелось и, наверное, жгло ему руки, потому что он болтал пальцами, а потом бросил тыкву в крапиву. Ударившись о землю, она сочно хрястнула и метнула пламя, как голова сказочного Змея Горыныча. На бегу я оглянулся. Огонька уже не было видно, пакля, должно быть, угасла, окропившись росой.

Мы промчались по улице до Шуркиного двора,



влетели в калитку, шмыгнули в огород и спустились к огуречным грядкам.

— Вроде получилось,— сказал Колька, переводя дух.

— Никто, кажется, не гонится,— прислушиваясь, проговорил Витька, потом тихо спросил меня: — Где мы? Я все ориентиры потерял. В каком конце деревни?

— Да рядом мы, у Шурки,— ответил я.— Вон оно, озеро.

— А!

— Вы слышали, как завизжала Граммофониха? — спросил я.

— Ещё бы.

— Как тот боров,— вспомнил Колька.

— А может, и тогда Граммофониха выла?—предположил Петька.

— Что я, Граммофониху с боровом перепутаю? — оскорбился Колька.— Я с ним нос к носу столкнулся. Мы прислушались.

— Никто не всполошился,— заметил Петька и вздохнул.— Хоть бы кто погнался.

— Погоди ещё! — сказал я.

Снизу, с озера, напирал туман и рыхлыми волнами окутывал тёмные грядки. Холодило ноги, по колено вымоченные росой.

Из предосторожности мы с полчаса просидели в Шуркином огороде. Торжество, ликование, охватившее нас в первые минуты, скоро улеглось, а потом и вовсе исчезло, уступив место беспокойству и какому-то гнетущему, противному чувству, которое на словах значило: «А что будет?» Вдруг Граммофониха узнает, что это наша проделка, и разнесёт по всей деревне? И будут люди тыкать в нас пальцем и говорить: смотрите, мол, герои, думали — хлопцы что надо, а они...

Расходились по домам молчаливо, словно стыдясь друг друга. Где-то, кажется у клуба, ухарски заливалась гармошка, но её голос нас не манил сегодня.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Утром меня кто-то настойчиво тормошил. Я чувствовал эти толчки, но сперва думал, что не меня толкают, а когда понял, что меня,— не захотел открывать глаза. Как приятно спать.

— Миша, Миша,— повторял голос. Это мама.

И тут же другой голос:

— Мишка! Засоня, очухайся. Слышь, эй!

С меня сдернули одеяло. Я сел. У кровати стояли мама с Колькой, у которого были поцарапаны щека, кончик носа и уголок лба. Я мигом сообразил, что Кольке попало за вчерашнее, и тревожно спросил:

— От матери досталось?

Колька махнул рукой.

— Нет... Слышь-ка, Миш...— Он покосился на маму.

— Мне нельзя слушать? — спросила мама.

— Можно... Ну, это...— Он задёргал пальцами, подыскивая слова. Чувствовалось, что он многое хочет сказать.— Так что вот — на меня вчера бандюга напал!

Я съехал с высокой кровати на пол:

— Какой бандюга?

— Такой... Человечий.

— Врёшь!

— Чтоб мне с кедра свалиться — человеческий,— поклялся Колька, ворочая до невероятности круглыми глазами.

— Какие же бандиты в деревне? — проговорила мама тем тоном, в котором сквозит явное недоверие.

— Тётя Лена, тётя Лена, Мишка... Бандюга. Говорю вам — бандюга, чего мне врать-то... Мишку я, может, и обманул бы, а вас-то... Он меня свалил и чуть не задушил, — быстро, свистящим шёпотом выпалил Колька.

И он, сбиваясь, рассказал всё, что с ним произошло.

Когда, расставшись с нами, Колька побежал домой мимо амбаров, ему кто-то подставил ножку. Он упал ничком и прокатился по земле лицом. Колька не видел человека и не знал, что упал из-за подножки, думал — просто запнулся. Но он испугался этого неожиданного падения в темноте. Он слабо вскрикнул. Хотел было вскочить, как вдруг кто-то живой и грузный навалился на него, зажал ему рот и нос ладонью. Колька рванулся, ещё не поняв, в чём дело, рванулся просто от насилия. Но руки держали его плотно, как ухват. У Кольки мелькнула мысль: отплата за Граммофонику. Ну, пусть надерут уши или отстегают крапивою, зачем же так давить и зажимать рот, ведь дышать-то надо... Колька снова рванулся. Но человек ещё злее прижулькнул его. Он сам дышал часто, тяжело и хрипло. Он даже закашлял, наглотавшись пыли, которая поднялась вокруг. Кашляя, он ослабил руку, державшую стиснутым Колькино лицо, и Колька, мотнув головой, сбил ладонь со рта. Но крикнуть он не успел, он успел только вздохнуть, а рука вновь закрыла рот.

Внезапно Колька понял, что нет, это не из-за Граммофоники, что это не наказание за шалость, а что-то другое, страшное и непонятное...

Человек между тем торопливо обшаривал Кольку. Он, путаясь в прорехах, лазил в карманы, за пазуху. Он чего-то искал, искал — не находил и вновь совал свою дрожащую руку в Колькин карман. Колька начал судорожно биться, не соображая, что к чему. И ему снова удалось сдёрнуть со своего рта ладонь, удалось повернуться под человеком. Его обдало гнилым, вонючим дыханием, и он глотал этот дрянной воздух, силясь крикнуть. Но крик не получался, потому что грудь была сдавленной. Кольке в глаза упали чужие волосы. Колька подумал, что ему выкололи глаза, что он ослеп. И тут он пустил вопль.

Человек вскочил, метнулся в сторону амбара и будто проник прямо сквозь амбарную стену.

Колька сел. Он трясся, дыша с каким-то шипением, как рассерженный гусак. Встать на ноги не было сил. А вдруг этот дьявол вернётся? Колька поднялся и пошёл неверными шагами. Дом был почти рядом. Колька щёлкнул крючком и опустился на порог, припав головой к косяку. Губы его задёргались, явились слёзы, и он всхлипнул.

— Колька, ты? — спросила проснувшаяся мать.

— Я.

— Ревёшь ты, что ли?

— Реву... — Колька встал, в темноте привычно бросился к кровати матери, ткнулся лицом в одеяло и, глуша голос, зарыдал.

— Что ты, Коль?

— Мамка, — заговорил он сквозь плач. — Мамка... Спишь и вовсе не знаешь, что меня под окном, у амбаров душили...

Тётка Акси́нья поняла, что это не шутка. Колька почти никогда не плакал. Она откинула одеяло, быстро поднялась с койки, зажгла лучину. Колька

был весь в пыли, заплаканный, с грязью на щеках. Тётка Аксинья охнула и присела перед ним.

— Сынка, как же так? — Она шершавой ладонью, нажимая до боли, вытерла под глазами слёзы. — Сынка, кто ж это?

— Кабы знать.

— А что он делал-то?

Колька рассказал.

Тётка Аксинья заплакала. Но у Кольки уже обсохли глаза, и он принялся утешать мать, трясая её за плечо.

— Ты, мамка, не хнычь, нервы не выматывай... Жив я, чего ж тут слезиться... Хорошо, что я нож-то дома оставил. А не оставь я нож дома — этот чёрт, или кто он там, так и знай — отобрал бы.

— Какой нож?

— Тот, которым Хромушку зарезали, — сапожничий. Мы его подобрали, прямо из раны выдернули.

Тётка Аксинья вдруг насторожилась и строго спросила:

— Где он?

— Нож-то? Я его за печку спрятал.

— А ну-ка, покажи.

— Нет уж, картошку им чистить я не дам, — запротестовал Колька.

— Покажи, говорю.

Колька достал нож:

— Вот он. Знаешь, какой острый!

Тётка Аксинья поднесла нож ближе к лучине и пристально оглядела со всех сторон. Потом стала развязывать грязную, промасленную тряпку на ручке.

— Не надо, мам. Её потом не намотаешь так ловко.

Но мать не ответила, продолжая разбинтовывать нож. Тряпка ссохлась и слиплась, поэтому раскручивалась с потрескиванием.

— Да зачем ты портишь! — возмутился Колька. Он забыл уже про свои слёзы.

— «Зачем-зачем»... А может, под тряпкой-то фамилия того самого разбойника значится. Может, он ради ножа тебя и тискал. — Видя недоумевающий взгляд сына, добавила: — А чего? Пронюхал, что он у тебя, ну и попробовал отнять.

Тряпочка упала на пол. Тётка Акси́нья склонилась ниже. Колька тоже сунул голову. При слабом жёлтом свете лучины они разом разглядели слово «ТИМ», нацарапанное на чёрной рукоятке. Нелепые, но чёткие буквы стояли не рядом, а с разрядкой: «Т И М».

Колька удивился:

— И правда фамилия. Тим. По-каковски это?

— По-русски.

— В деревне у нас Тимов нету.

Тетка Акси́нья задумалась, потом снова посмотрела на нож, повторила:

— Тим.— Вздохнула.— Холера его знает... Ну, вот что, сына, ложись спать. Мы сыщем этого баламута. Я завтра Дарье покажу вашу трофею... Погоди-ка, поверни рожу-то ко мне... Ишь как ссадил.— Она принялась счищать грязь с царапин.— Терпи-терпи.

Колька терпел. Он только морщился и цедил сквозь зубы воздух.

Он редко спал с матерью. Сегодня он забрался к ней. Тревожно было мальчишке.

Меня оглушил Колькин рассказ. Мама ничего не сказала и, задумчивая, отошла.

Я оглядел ссадины на Колькином неожиданно чистом лице и сразу представил, как он растянулся на

земле и как огромный человек, словно медведь, навалился на Кольку и принялся холодными руками, как щупальцами, лазить по его телу. Мне стало страшно. История Хромушки, успевшая притонуть в памяти, всплыла теперь и тяжело заполнила воображение. Тёмная неподвижная фигура, застрывшая в тальнике, вдруг ожила, и я отчётливо представил, как она притаилась уже не в зарослях, а за углом амбара, чтобы ничего не подозревающего Кольку сбить с ног. Я даже увидел его когтисто скрюченные пальцы... Откуда же этот зловещий человек и что ему нужно от нас?

— Мамка сказала, что это кто-то из наших деревенских, — наклонясь ко мне, шёпотом произнёс Колька.

— Но?

— Да-а! Дед Митрофан так же говорил!

— Как же из наших, когда все кругом знакомые?

— А я почему знаю.

— Не может быть!

Под окном щёлкнул бич и раздался Петькин свист-шипение.

Мы выскочили на улицу, и Колька прямо с крыльца крикнул, что он знает тайну.

В это время хлопнула дверь Кожиных.

— Вить, скорей сюда! — позвал я.

А Колька уже, размахивая руками, обрисовывал ночное нападение. Прежнего волнения в его голосе не было. Теперь Колька будто пересказывал прочитанное.

Когда он кончил, ребята некоторое время молча смотрели на него, потом Петька выдохнул:

— Вот пёс!

Витька испуганно повторял:

— Неужели правда? Неужели правда?

— Вот что, Колька,— сказал Петька Лейтенант.— Сегодня ночью мы с тобой вместе пойдём к вам. Пойдём мимо амбаров. Ты будешь первым идти, а я вторым. Как только он на тебя бросится, я подскочу и его — в спину.

— Чем? — спросил я.

— Обухом его тюкну.

— Нет уж,— отказался Колька.— С меня будет. Иди-ка ты первым, а я сзади.

— Дурак. Ты же испугаешься. Он кинется на меня, а ты, как заяц, тикать.

— А! Гляди-кось, какой храбрый.

— А если испугаешься, так не разглядишь да и меня вместо бандита по черепку трахнешь.

— Хватит болтать-то,— перебил Шурка.— Вы думаете, он снова будет подкарауливать? Как бы не так. Он теперь упрячется, ровно крыса... Мать, говоришь, взяла нож-то?

— Взяла. Хочет тётке Дарье показать.

— Значит, сыщут, раз фамилию нашли,— уверенно произнёс Шурка.

— Тим,— повторил вдумчиво Петька.— В соседней деревне вроде есть Тимы.

О Граммофонихе мы позабыли. Тут было не до тыквенного пугала, когда такое творится.

Бандит в деревне! А мы шляемся допоздна. Может, он давно охотится за нами? Может быть, мы не раз проходили мимо него, спрятавшегося где-нибудь за плетнём? Может, он потому только и боялся нападать, что нас было много? Что же это такое?.. Откуда? Не напутал ли чего Колька? Не приснилось ли ему?

Дед Митрофан, когда мы рассказали ему о новом происшествии, хлопнул по коленям и неожиданно принялся ругать себя:

— Старый пень, а! Как есть, лишился рассудку. Ночью-то я спал. А ведь могло оборотиться в бедствие. Коровы-то спят открывши! — Дед вдруг спохватился и засеменял к коровьему стаду под навес считать скотину.

Мы выгнали овец.

За ночь небо не расчистилось. Воздух был сырым и прохладным. Таёжные дали, не расцвеченные солнцем, серели однообразно. Всё сулило непогоду, всё навевало тревогу.

Разговор не клеился. Мы чувствовали, что сейчас в правлении распутывают преступные следы и что к вечеру всё, наверное, выяснится окончательно. Поэтому хотелось, чтобы день пролетел быстрее, хотелось подтолкнуть его, как буксующую машину. Но он не спешил.

Мы долго топтались у зарослей на памятном месте, где была зарезана Хромушка. Сохранились даже пятнышки крови на траве — дождя-то не было. Заходили в тальник, в котором укрывался злодей, топча ветки. Но гибкие молодые талины успели выпрямиться, и ничто не говорило о том, что здесь был человек.

Домой погнали овец раньше — не терпелось.

На скотном дворе нас поджидала тётка Дарья и Аксинья, мама и дядя Андрей — милиционер. Мы поняли, что начинается нечто неслыханное до сих пор. У дяди Андрея на боку висела кожаная кобура. Она часто болталась у него на поясе и всегда пустая, как осенняя скворечня. Мы даже думали, что нету у дяди Андрея никакого оружия. Но сейчас из застёгнутой кобуры торчал серый затылок револьвера.

— Загоняйте, — поторопила тётка Дарья, видя, что мы растерянно остановились. — Только тихо... Загоняйте и заходите в сторожку.

Овцы без особого желания лезли в свою кошару. Лишь забегут во двор — тотчас рассыплются по всем углам: и в конюшню, и в телятник, и под коровий навес. Обычно мы орём на них. А тут действовали бесшумно, да и сами овцы будто понимали, что не время сейчас для капризов.

Подождали, пока Шурка запихал засов. Пошли.

— Саньк, а как ты думаешь, заряжен у дяди Андрея наган, а?

— А то как,— ответил вместо Шурки Петька Лейтенант.— Так ли ещё заряжен. Туда знаешь сколько патронов влезает?

— Сколько?

— Ы! Сколько... Да уж не мало.

— Вот и не знаешь...

— Я-то!

Спор оборвался. Мы вошли в сторожку. Все стояли, кроме деда Митрофана и дяди Андрея. На дядё Андрее был милицейский китель, усыпанный остью — пшеничными усиками. Под расстёгнутым кителем — майка с двумя дырками. Брюки простые, с заплатой на одном колене.

— Устали, работяги? — спросил дядя Андрей.

— Не-ет,— как-то не сразу ответили мы.

— Вижу, что нет, языки вон еле ворочаются.

— Это так, это...— Мы глотали слюну.

— Вы спокойней, спокойней, а то от вас никакого толка не добьёшься.

— Вы не бойтесь,— сказала тётка Дарья.— Дядя Андрей хочет...

— погоди, Дарья, я сам... Вот ты, Колька, скажи, тот дубина, тот гражданин, как он, что-нибудь говорил?

— Нет. Ничего не говорил.

— М-да...

— А может, он что спрашивал? — вмешалась тётка Дарья.

— Да погоди ты, Дарья, я сам. Тут надо по порядку...

— Ты уж, Дарья, не лезь,— шепнула тётка Аксинья.

— Так... А может, он всё-таки что спрашивал? — продолжил опрос дядя Андрей.



— Нет. Он молчал. Он меня тискал, обшаривал и молчал.

— Вот ведь паразит, молчком действовал... А как он ростом, высокий или поменьше?

— Я не заметил. Темно было и... никак.

— Ну, а всё же, как он из себя?

— Тяжёлый,— нашёлся Колька.

— Хы... Все мы тяжёлые, а вот который из нас твой благодетель, вот это — штука... Ну, а ещё чего он делал?

Колька задумался, а потом ответил:

— Сопел и кашлял.

— Кашлял?

— Кашлял. Пылища поднялась, и он закашлял.

— Пылища, говоришь? Ладно...— Дядя Андрей сжал в кулаке нож, встал и коротко сказал: — Нашёл, бабы! Это — он!

Наверное, о «нём» уже говорили взрослые между собой и желали лишь уточнить, «он» ли это в самом деле. И теперь они, видно, уточнили.

— От сволочь,— выругалась тётка Акулиня.

— Ну, что ж, Андрей, всё ясно,— сказала мама.

— А ведь больной-больнёшенек,— сказала тётка Дарья.

— Иде дупло, там и зло... Этак народ-то судит,— подал голос дед Митрофан.

— Да-а,— протянул дядя Андрей.

Мы ничего не понимали. Вернее, понимали, что «он» уже найден, раскрыт, но кто этот «он» — было не ясно.

— Дядя Андрей, а кто ж это? — спросил Колька.

— Кто? Скоро узнаете... А как вы насчёт того, чтобы помочь милиции?

— Насчёт этого мы вполне,— ответил Петька Лейтенант.

Дядя Андрей глянул на Петькину пилотку с железнодорожным крестиком и с лукавинкой проговорил:

— Ну, это со стороны военного, а как гражданские?

— Какой он военный,— запротестовал Колька.— У него тряпки только военные, а сам он, если его нагишом раздеть...

— Я вас, братцы, всех нагишом-то знаю,— перебил дядя Андрей.— Вы лучше слушайте... Возьмите этот нож и, как стемнеет, дуйте к Тихону Мезенцеву.

— Ну и что?

— Зайдите и скажите: «Вот, мол, вам ножичек», и отдадите.

— А зачем? — удивился Колька.— Зачем Мезенцевым нож отдавать?

— Затем, что Тим — это Тихон Иванович Мезенцев.

Мы окаменели.

Тихон Мезенцев — бандит? Он ведь наш, он ведь колхозник, он ведь работает вместе с мамой, с тёткой Дарьей, вместе со всеми. Отчего же он бандит?.. И вдруг я вспомнил ту ночь, когда мы с Колькой возвращались из клуба через берёзовую рощу и на старых могилах столкнулись с ним, с Тихоном Мезенцевым. Он кашлял, кого-то ругал. Нет, не кого-то, а тех, кто был на собрании, то есть и маму, и Анатолия, и нас.

А тётка Дарья говорила тогда, что он лежит, болеет, а он вовсе не лежал, а шлялся по кладбищу. Я вспомнил, как он испугался, когда мы окликнули его, и как он сдавил пальцами Колькин череп, разглядывая при лунном свете его лицо. В тот миг мы испугались его. Было в нём что-то злое, не наше.

Он и спичек не дал нам, чтобы разыскать потерянный патрон... И ещё одно воспоминание вспыхнуло в памяти: дочери Тихона, когда они на берегу озера, увидев сапожничий нож, уроненный Колькой, разглядели его и сказали удивлённо: «Наш!» А когда Колька ответил, что этим ножом зарезали Хромушку, они закусили пальцы — они, наверное, поняли, что это их отец пырнул овечку. Может, они и так знали? Может, сами помогали отцу? Ведь как раз перед этим, когда овцы спускались в Мокрый лог, я видел девчонок и тележку, на которую они складывали наломанные берёзовые ветки. Может, это отец заставил их привезти тележку и для вида ломать веники, а под вениками-то хотел увезти домой зарезанную Хромушку?.. Самые неожиданные предположения переполняли мне голову. От них даже становилось так же страшно, как если бы я, радостный и спокойный, шёл по тропинке, окуная голову в ветки молодого берёзняка, и эти ветки вдруг оказались бы шипящими змеями... Значит, не все вокруг меня — наши, значит, есть не наши, чужие, непонятные, страшные... Тихон Мезенцев. Может быть, он не один? Как же тут разобраться?.. Мысли, как вихри в буран, закружились в моей голове и не унимались ни на миг.

Кто-то, кажется Шурка, взял у дяди Андрея нож. Я расслышал, как мама и тётка Дарья что-то сказали дяде Андрею, и тот громко ответил:

— Ладно, пусть пороху нюхнут. Ничего он им не сделает. Я рядом буду.

Как во сне я пришёл домой. Мама поставила поест. Я ничего не хотел. Какое-то тошнотное ощущение возникло в горле и в желудке. Я вышел на крыльцо. Болото застилалось белым пуховиком тумана. Мне казалось, что туман не только там, в низине, но и тут, в деревне, прямо во дворе, что я дышу им и что

он, как дым, ест мне глаза, что голова моя качается на туманных волнах.

Мама спросила, не болен ли я. А я спросил маму, почему Тихону надо было резать Хромушку. Мама мне что-то ответила.

Я окончательно пришёл в себя только тогда, когда собрались ребята и Петька крикнул:

— Мишк, айда!

Мы двинулись в вечерних сумерках. Витьки с нами не было, его, наверное, не отпустил Толик.

— А вдруг он нас гранатой? — предположил Колька.

— Гранатой!.. Гранаты на фабриках делают, — опроверг Петька.

— А может, у него в подполье фабрика?

— В башке у тебя фабрика, а не у него в подполье.

Чем ближе мы подходили к дому Мезенцевых, тем тише становились наши голоса, наконец мы замолчали совсем. На сердце было тревожно. Я глотал слюну, но она не проглатывалась.

Нас догнал дядя Андрей.

— Ну, хлопцы, не трусить! Чуть чего — я в сенях! И наган со мной! — подбодрил он нас. — Важно, чтобы Тихон нож признал!

Окно Мезенцевых слабо светилось. Гуси, белевшие у плетня, не отозвались на наше вторжение, и, теснясь, мы вошли в избу.

На столе, на опрокинутой крынке, лежала горящая лучина. Две девчонки сидели, забравшись с ногами на лавку и опершись локтями о стол. Рядом на табуретке примостилась мать, чистя картошку. Когда мы вошли, девчонки медленно спустили ноги на пол и застыли, уставясь на нас. Тётка даже не обернулась.

— Нам бы дядю Тихона.

— Зачем?

— Нож бы ему отдать. Вот.— И Шурка показал нож.

Тётка, продолжая чистить картошку, безразлично, будто мы принесли им долг, проговорила:

— Мань, возьми-ка нож.

Ни одна из девчонок не сдвинулась с места. Шурка сказал:

— Нам бы самого дядю Тихона.

— Нету Тихона-то,— ответила тётка.

— А где же он?

И вдруг тётка с размаху бросила в ведро и картошку и нож, так что брызги долетели до нас, и, сжав кулаки, закричала:

— Нету!.. Нету Тихона! Пошли вы к чёрту!.. К дьяволу!

Услыша шум, заскочил в избу дядя Андрей. Тётка перестала кричать, уронила на руки голову и заплакала. Заревели и девчонки.

— Где Тихон? — жёстко спросил дядя Андрей. Тётка подняла голову.

— Ушёл... Ещё утром ушёл. Собрал котомку и смотался. Это вы, ироды, довели мужичишку. Исчах он, мужик-то, скелет один остался. И уж не знаю, докудова доплетётся, сердяга. Я ему: околевай, мол, тут, а он хрясть меня в морду-то и — с богом.— Тётка говорила вяло, безразлично. И вдруг она повернулась резко к нам и прокричала, ударяя себя по коленям: — Нету Тихона, минцанеры...

Мы испуганно подвинулись к дяде Андрею. Он на миг задумался, вздохнул и с лёгким сожалением произнёс:

— М-да... Что ж, ладно... Хлопцы, пошли.

Мы, поражённые и молчаливые, вывалились в се-

ни. Из-за двери я услышал, как во весь голос зарыдали девчонки.

Тим ушёл! Куда?

Ночью я несколько раз вздрагивал от испуга и просыпался. То я видел, как Тихон Мезенцев подкрадывается ко мне с вилами, то видел, как Петька Лейтенант, зажав в зубах пилотку с железнодорожным крестиком, бегаёт с топором за Тихоном. Даже страшная Кожиха являлась ко мне, прямо в гробу; гроб вкатился в горницу на зубчатых колёсиках от комбайна.

Утром у меня была температура. Майка вымокла от пота, хоть выжимай.

— Ты что же это, Миша,— беспокойно говорила мама.— Промёрз, что ли? Надо лучше обуваться... Лежи, сегодня никуда не пойдёшь. Проглоти-ка...

Мама дала мне горькую, как калина, таблетку и положила на лоб влажное полотенце. Мне было жарко и душно.

Зашли ребяташки и удивлённо уставились на меня.

— Чо? — спросил Колька.

Я пытался небрежно улыбнуться:

— Градусы поднялись.

— Да ну их к чёрту, твои градусы,— посоветовал Колька.

— В баню надо,— заметил Петька.— На самую верхнюю полку и самого верхнего пару! Всё, как лопатой, выгребет, всю болезнь.

— Нет, это верно, что лежишь. Я болел, знаю,— сказал Витька.— Я тебе сейчас ещё кругленькую пилюльку принесу.

Ребята уходили без меня. Петьку я окликнул:

- Слышно что про дядю Тихона?
- Слышно.
- Что?
- Что нет его — удрал.
- Я знаю, что удрал. А ещё что?
- А больше ничего.

Ушла и мама на работу. Я остался один. В комнате сумрак, значит, опять на улице пасмурно... Тим ушёл! А может быть, он вовсе не ушёл, а скрывается в деревне. Может быть, он надумал порешить нас и залёг где-нибудь в Клубничном березняке, выжидая удобного момента. Я сел в кровати, придерживая рукой мокрое и уже тёплое полотенце. А как же ребята? Ведь они не знают, не предполагают. Хотя нет, Петьку с Шуркой не проведёшь, они почуют неладное живо, как собака косача. У них ружьё. Я снова откинулся на подушку. На меня с улыбкой смотрел отец. Я часто-часто заморгал и вдруг почувствовал, что к глазам подступают слёзы. Они приподняли веки, и вот уже шариками слезинки сбежались к переносице. Отчего я заплакал — не знаю. Под тихие всхлипывания я и заснул.

Должно быть, я спал часа два, а когда проснулся — удивился, почему я лежу. Потом вспомнил, схватил градусник и сунул его блестящую головку под мышку. Нормально. Стряхнул куцый столбик ртути и снова измерил. Нормально. Я соскочил на пол.

Через полчаса я уже присоединился к ребятам.

Они насторожённо улавливали каждый шорох, как часовые. Шурка держал наготове заряженное ружьё. Иногда Петька Лейтенант заходил в Клубничный березняк, подозрительно косился на густой кустарник, осторожно заглядывал за него, как за стенку. Колька следовал было за ним, но на полпути

останавливался и, раскрыв рот, прислушивался. Потом спрашивал:

— Петьк, ну как?

— Никого.

И они возвращались к нам. Петька даже забирался в тальник, приказав, чтобы его прикрывали огнём. Но наше беспокойное ожидание не оправдалось. Никто и нигде нас не поджидал, никто и нигде не встречался.

Вечером, пригнав стадо, мы узнали от деда Митрофана, что Тихона Мезенцева настигли в соседней деревне и взяли.

— Дедушка, а почему он так, Тихон-то? — спросил я.

— Тихон-то? — Дед запустил пальцы в бороду. — Таился он от людей, как леший, вот и свихнулся. Человек-то без народа, что овца без стада, — дичает, а долго ли, одичавши, такое сделать?.. Вот вы небось вместе все?

— Вместе.

— Вот!.. И все так друг к дружке жмутся, народ-то любит тесноту, чтоб в обязательности локоть в бок упирался... А Тихон — что? Всё сторонился да косился, всё молчком да всё тайком — вот и угодил в злыдни.

Я внимательно слушал деда Митрофана и тут же дал себе слово, что никогда и ни за что на свете не отстану и не покину своих друзей. Но и после этого я не успокоился и продолжал думать и думать про людей, которые любят жить тесно, дружно. Тётка Дарья, тётка Матрёна, Анатолий, дед Митрофан, пасечник Степаныч — всех этих людей перебрал я в уме и с радостью почувствовал, что они мне близки, каждый по-разному, но все одинаково близки, любил я их, как родных... Нет, нет, я никогда не буду чураться людей!

— А что с ним сделают? — спросил Колька.

— Оно ежели сурьёзно да ежели по всем претензиям, то Тихона-то это... — дед помахал рукой, — на народ надо бы его, на возвышение, чтоб, значит, каждый мог видеть, какой он есть, и чтобы каждый мог своё слово сказать, то есть как кто на это дело, с каких точек глядит.

— К стенке его, фашиста, надо, а не с точек глядеть, — вынес приговор Петька.

— А ещё кого-нибудь забрали? — спросил я.

Дед Митрофан удивлённо посмотрел на меня:

— Кого это ещё?

— Ну, может, ещё кто-нибудь с ним заодно? Может, их — шайка?

— Никого с ним заодно нету. Заодно он один, — решительно произнёс дед.

— Это точно, дедушка?

— А нешто как? Это в аккурат точно. Это как в воду глянуть.

Мне стало приятно оттого, что нету больше среди нас таких людей. Старик много прожил — знает.

ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ

Мы выходили вшестером. Прибавился Толик. Он соорудил свой планёр окончательно и захватил его с собой, собираясь запустить в пробный полёт с бугра в Мокрый лог. Толик нёс модель за нос, она была похожа на огромную стрекозу.

Разговор не сразу, но налаживался.

Колька решил: лучше быть укушенным змеей, чем ходить в проклятых сапогах. Он шёл босиком, делая быстрые и какие-то куцые шажки, чтобы ноги не

очень отставали и не попадали под приклад, который нависал над пятками. Колька был неизменным оруженосцем. Штаны его по-прежнему поддерживались одной лямкой, по-прежнему лицо его было смешным и чумазым, а большие уши улавливали каждое слово, каждый звук. Когда я смотрю на Колькины уши, мне всегда кажется, что вот-вот они зашевелиятся и шлёпнут его по щекам.

У Шурки на лице не было такого постоянного выражения радости, какое было у Кольки. Он смеялся, когда смеялись все, но его рот не был раскрыт в ожидании чего-то необыкновенного. Шурка тащил бич, перекинув его через плечо и удерживая ремённый хлыст на спине, завернув туда руку. Кепка сидела на его голове, как всегда, небрежно — козырьком вбок. Шурка никогда не заботился о том, чтобы надеть её правильно — как подвернулась кепка под руку, так он её и нахлобучил на голову, а где козырёк — не имеет значения, лишь бы вихры не лезли в глаза.

Петька Лейтенант шагал широко, засунув руки в карманы галифе и таким образом поддерживая их, потому что верёвочка сползала. Пилотка с железно-дорожным крестиком обхватила Петькину голову зелёным полумесяцем. Петька был похож на босяка, на бродягу, который кого-то ограбил и всё снятое нацепил на себя: и пилотку, и штаны-бутылочки, грязные и обтрёпанные снизу. Жулик! И говорит строго, будто ругается, свистит, но свистеть по-настоящему он не умеет, а так — шипит, как самовар.

Все они были забавными: и Колька, и Петька, и Шурка, даже Витька, не своей одеждой, а другим чем-то: не то голубыми глазами, не то какой-то живостью разговора, не многословием, а именно живостью. Лишь Толик не походил на всех, он не казался забавным, что-то было в нём серьёзное.

Когда мы выгоняли стадо, дед Митрофан наказывал:

— Вы вот что, вы не вертайте, коли дождь малость крапнет. Большого-то не будет, а малый... кто его знает, вон он висит.— И дед мотнул головой вверх.— Мой дождевичок прихватите.

Он сбегал в сторожку и принёс грубый брезентовый дождевик.

— Эй, Петька, возьми-ка брезентину! — крикнул Шурка.

— Зачем она нам? Под берёзами укроемся.

— Не укрывался, видно, под берёзами-то,— проворчал дед.— По первости-то ничего, а после, как за шиворот польёт, вылетишь из-под берёзы да лучше под небом будешь торчать... Берите.

— Да возьми,— опять сказал Шурка.

Петька только скривил физиономию, но взял дождевик и пробубнил:

— А штаны кто мне будет держать? Дед Митрофан? Придумал старый! — Он накинул брезентину на себя поверх головы и пошёл, как ступа.

Мы побежали догонять стадо, а дед ещё кричал вслед:

— А коль разойдётся да затянется — оборачивайтесь... Уразумели? Я про хмару...

Тучи совсем низко неслись над деревней, от этого их движение казалось более бурным и неприветливым, они были одинаковы: дымный цвет, рыхлые неотчётливые края. Никогда мир не был, кажется, таким узким и печальным, как теперь, при низком тучелёте.

Колька не замечал ничего, кроме модели планёра. Он увивался вокруг Толи, будто был на привязи, и разглядывал непонятный предмет с неподдельным удивлением, тем более что я рассказал ему, что он,



этот предмет, летает не хуже настоящего самолёта. Колька, должно быть, пытался разыскать в нём какие-нибудь пружинки, которые могли бы подбросить планёр, а потом не выдержал и спросил:

— Неужто полетит?

— Полетит,— ответил Толя.— Во всяком случае, должен полететь, если я всё правильно по схеме собрал... Его воздух поддерживать будет.

Колька отошёл к Петьке и сообщил ему:

— Полетит, потому что его воздух поддерживать будет.

— Но,— отозвался из-под дождевика Петька,— у тебя, Колька, голова большая, ты учёным станешь.

— Когда?

— Когда вырастешь.

— Долго ждать.

— Подождёшь... Хочешь понести дождевик? Знаешь, как здорово в нём!

— И тащи сам, раз здорово.

— Противно долго-то.

— А! А если бы ещё пулемёт на горбушку присобачить?

— Пулемёт! Его-то я бы тыщу километров пёр.

Шурка о чём-то разговаривал с Витькой и с Толей. Когда я подошёл к ним, Шурка отвечал:

— Всякие есть: тетерева, глухари, рябчики, на озере — утки...

— А из зверей кто? — спросил Толя.

— Тоже посчитать, так много: лисы, зайцы — это везде, волки, когда и медведи, сохатые, только на них охотиться запрещено...

— Интересно!..

— Или вот тайга. У! И кедров, и белок, и всего. Вы тайгу-то видели?

— Нет, не видели,— ответил Толя.

— Шурк, а когда мы пойдём в тайгу? — вспомнил вдруг я.

— Теперь хоть завтра. Теперь нас шестеро. По трое и слетаем.

И заговорили все о том, как хочется в тайгу и что там можно увидеть. А тайга на горизонте слилась с небом. Вот было бы здорово, если б все никчёмные, унылые тучи взвились вверх высоко-высоко, за самую

синеву, и открыли бы солнце, а солнце окатило бы нас теплом.

Стадо спускалось в Мокрый лог.

— Стойте,— остановил нас Толя.— Запускаю.

Мы замерли. Он поднял руку, уравновесил планёр и толкнул его вперёд. И планёр полетел без зигзагов и колебаний, ровно, как по нитке. Красиво! Овцы волной хлынули от этой белой стремительной птицы. Модель скользила прямо над склоном, не выше, не ниже, и только в конце его она пошла на снижение, и то потому, что склон становился положе. Мы увидели, как планёр приземлился, и с криком бросились вниз. Овцы же подхватились и наискось улепетнули в заросли.

Мы ликовали, точно не модель, а мы сами спланировали с бугра.

Колька плясал и кричал вместе со мной «ура», Петька, скинув брезент, щёлкал бичом и пытался свистеть, а Шурка говорил: «Здорово, вот это здорово!»

Толя улыбался.

— Значит, всё по схеме. Я особенно боялся за стабилизатор... Ну, теперь давайте каждый пустим.

Каждый не каждый, а на бугор мы поднимались всей командой и всей командой сбегали за планёром. Догнать его было невозможно. Мы были всего на середине склона, когда он уже, прошуршав по траве, замирал на дне лога. У всех получалось ладно, лишь Колька начудил и чуть не угробил планёр. Когда подошла его очередь, он взял модель дрожащими руками, осмотрел её, чуть не лизнул, попросил нас отойти подальше, чтоб не мешали размаху, и, сказав: «У меня полетит всех дальше!», швырнул его так, как швыряют камни. В момент броска нос планёра оказался задраным, и он стрелой взмыл вверх, там живо

перевернулся, будто переломился, колом спикировал вниз и трахнулся. Нам показалось, что дрогнула земля. Но планёр выдержал. Петька чуть не заехал Кольке в ухо от злости. Толя во второй раз растолковал, как надо пускать.

— Понял? — спросил он под конец.

— Понял, — ответил Колька и нетерпеливо потянулся за моделью.

— Нет, ты, пень, ещё раз пойми, — вдалбливал Петька.

— Ну ещё раз понял. — Колька взял планёр, поднял его. — Отодвиньтесь-ка.

— Нет, уж не выйдет, пускай.

И Колька пустил, сперва примерившись, как дать толчок. Неизвестно, почему планёр полетел выше, чем у нас. Он и пролетел бы дальше, но врезался в тальник, стенкой стоявший на пути. Когда мы примчались на место аварии, то обнаружили в одном крыле прорыв папиросной бумаги — видно, наткнулся на ветку.

— Всё же доконал, — уязвил Петька. — Никогда тебе учёным не стать, хоть ты большеголовый. — И он влепил Кольке здоровенный щелчок.

Тот почесал макушку, обвёл всех виноватым взглядом, будто спрашивая, заслужил ли он это. Наши огорчённые лица говорили «да», и Колька смиренно вздохнул.

— Авария пустяковая, — успокаивал Витька.

— Да, не страшно, подклеим — и всё. Но пускать пока нельзя, — закончил Толя.

— А может, берёзовый листок... да слюнями примазать, — спасал Колька свой авторитет.

— Ненадёжно и тяжело, — отвёл Толя предложение.

— Листок-то тяжёлый? — спросил я.

— А ты что думал? — вмешался Петька. — Это тебе не на Игреньке.

В полдень заморосил дождь, мелкий-мелкий и частый. Ощущая на лице его тонкие свежие уколы, я почему-то подумал, что у меня прорастают веснушки.

Петька, волочивший дождевик по траве, напялил его на себя, опять обратившись в безголовую ступу.

— Некстати заморосило, — удручённо вздохнул Толик. — Теперь планёр расползётся начисто, он ведь на клею.

— Не расползётся, — убеждённо заявил Петька, скидывая с себя дождевик. — Мы его замаскируем этой шкурой. А сами... Эге, а сами отсидимся под берёзами, мы-то несклеенные.

Так и сделали. Модель бережно прикрыли брезентом, а сами, вытянувшись как стручки, прижались спинами к холодным молодым берёзкам, выросшим дружной тройкой из одной кочки. Овцы расположились неподалёку в тальнике. На виду было больше половины, остальных прикрывали сплетения ветвей.

Дождь прекратился быстро. Он не успел собраться в капли на листьях, он только увлажнил их, ударил ароматом и, зацепившись за свою ненаглядную тучу, унёсся куда-то, наверное, на болото.

Мы начали расторопно собирать на «стол». Разостлали хрустящий дождевик, вывалили на него всё, что захватили из дома: свежие огурцы, хлеб, картошку и перья лука. Всё это перемешалось так аппетитно, что захватывало дух. Я думал, что Кожины ничем не запаслись, и радовался, что они будут есть наше, но они извлекли из карманов по куску хлеба с салом и подложили к общей кучке.

Мы бы давно похватали огурцы и уже похрустывали бы ими, но сверху лежали кожинские куски хлеба с салом... Неловкую заминку нарушил Петька:

— Ну что ж, пожрём!

— Пожрём! — поддакнул Колька. — Мишк, давай складень. Он острый? Сало возьмёт?

Петька сложил куски этажами и два раза разрезал. Получилось шесть порций. Лейтенант распределил их и скомандовал:

— Начали...

Сало мы отложили напоследок, вроде сладкого к чаю, и лишь затем взялись за остальное. Я любил есть огурцы не так, как, например, Колька. Он с ходу откусывал голову, а потом уписывал слоями, пороша сверху соль. Я же сначала разрезал огурец пополам, солил обе половины и натирал их друг о друга, словно огонь хотел добыть. Когда у краёв появлялась зелёная пена, я принимался за еду. Витька же с Толей сперва срезали спиральными витками тёмно-зелёные задки и скovyривали белые макушки, где остаётся пятно от цветка, и лишь потом ели, тыча полуголые огурцы в тряпочку с солью, как глупых котят в блюдце. Шесть пар челюстей мололи, как одна.

А тучи, разметав по небу длинные космы, снова уже неслись и неслись из-за Клубничного березняка, серые, холодные.

«Какой же дорогой отправимся мы в тайгу? Сланью или болотом», — обсуждался у нас вопрос. Я хоть и не хаживал ни тут, ни там, но знаю, что сланью идти — значит делать крюк. А нам не до крюков, нам чтоб сразу. Тогда болотом, напрямик.

Болото! Как и всякая особенность деревни, оно имело свои легенды, свою бывальщину. От прадедов, должно быть, передался сказ о великом море, которое плескалось и урчало на этом вот месте, окатывая бугор шипящими, как змеи, волнами. Бури на нём бывали такие, что застилали свет, и немало кораблей разбилось и затонуло у кандаурских берегов. Не было

на горизонте тайги, не было Клубничного березняка, кругом — вода. А потом где-то в далёких краях опустилась земля, и море живёхонько укатило туда, как в лунку, оставив нам болото да какие-то семена, из которых позже воспрянула тайга.

Болото начиналось не сразу, не обрывисто, а постепенно, с сухих кочек, поросших травой, дальше трава сменялась осокой, появлялся высокий камыш и пробивала сырость. Встречались трясины — «окна», но редко. Пастухи уверяли, что скотина никогда не влипала в трясину, о пропаже никто в деревне не заикался, поэтому и у нас особых тревог не возникало, когда овцы, пропоров тальник, кудряво окаймлявший болото, забуривались вглубь, где ежами сидели шапки зелёного мха и под ногами по-пороссячи чавкало. Мы и сами замечали, что овцы, уловив это хлюпанье, останавливались, вытягивали из копытца набежавшую воду, некоторое время внимательно и озорно вглядывались в недосигаемую, манящую даль и, с сожалением тряхнув головой, поворачивали назад. Овечье чутьё — вожжа, одёрнет, когда надо.

Вдруг со стороны болота слышалось блеяние, сперва нерешительное, будто овца размышляла, подать голос или нет, потом испуганное и нетерпеливое, зовущее.

— Слышите! — Шурка насторожился.

— Слышим.

Овца завопила сильнее. Заросли глушили вопль, но не лишали его смысла: тревога, беда. Мгновенно вспомнилось убийство Хромушки. Мы привстали на колени.

Шурка схватил ружьё и зашарил в кармане, ища патрон.

— Что это? — шёпотом спросил Витька.

— Опять бандюга?! — ужаснулся Колька.

Овечка орала. Шурка вскочил и щёлкнул затвором.

— Айдайте!

Шурка пошёл первым, держа наготове ружьё и разнимая дулом ветки тальника. Мы, дыша друг другу в затылки, двигались следом, шаря взглядами по сторонам.

— Тот раз так же? — спросил меня Петька.

— Так же.

И опять перед глазами возникла Хромушка, распластавшаяся под кустом, а в кустах — фигура человека. Стук сердца отдавался гулом во всём теле, как в колоколе. Во рту пересохло. Я оглянулся на ребят. Они тоже пораскрывали рты, как задыхающиеся гальяны.

Мы втиснулись в камыш, покрывший нас с головой, а овечка всё ещё орала впереди. Шурка прибавил шаг. Мы устремились за ним, поскальзываясь на кочках. Колька два раза падал.

— Ну, что там, Саньк?..

Шурка не отвечал, шёл быстрее. Овечка где-то вблизи. Полоса камыша кончилась. Мы вскочили на какой-то плотный клин земли, на котором торчала невысокая ёлка. Быстро осмотрелись — никого. Шурка, опустив ружьё, кинулся за ёлку, мы — следом и сбились в кучу, чуть не столкнув Шурку в... трясину.

Метрах в двух-трёх от нас, посредине ржавой, пузырящейся полыни, билась овечка. Увидев нас, она на миг утихла, затем начала рваться ещё яростнее. Трясина колыхалась, как студень, глубже втягивая её. Невозможность двигаться смертельно пугает всякую животицу, ей кажется, что это конец.

— Не бейся, дура! Тихо! — кричал Шурка.

— Вот тебе и бандюга,— вздохнул Петька.

— Не рвись, тетеря! Сейчас.— Шурка, придерживаясь за лапу ёлки, попробовал было наступить на трясинный покров, но нога проваливалась.

— Так не добратся. Что же делать? Да не мотайся ты, самашедшая!

— Можно на пузе, по-пластунски,— нашёлся Петька.

— По-пластунски? — переспросил Шурка, но видно было, что думал он о чём-то другом.

— Ну да. На войне всегда так. Смотрите.— Лейтенант плюхнулся на живот и с твёрдой земли начал перебираться на трясину.

— Куда же ты пополз? Куда? — заговорил Толик.

— Правда, Петька, не лезь без толку,— поддержал я.

Петька выполз обратно.

— Надо прокладывать тротуар,— подсказал Толик.— В общем, стелить что-нибудь надо.

Шурка оживился.

— Точно. Вали деревья, только скорей!

Через камыш мы ринулись к берёзкам. Они были толщиной в кисть руки, но не ломались, а гнулись, как резиновые.

— Топор бы сюда,— сказал Витька,— или хоть нож.

— Нож! Фу ты! Вот ведь балбес! — Я достал складень.

В щелястые сапоги давно просочилась вода и хлюпала, как сливки в маслобойке. Но я не чувствовал неловкости. Я резал ножом, разбрызгивая мелкие щепочки. Одновременно и держать деревце пригнутым и резать я не мог приловчиться, поэтому подрезал стоячее.

— Я поташу, а ты режь.

Витька подхватил берёзки под мышки, как оглобли, и двинулся сквозь камыш на Шуркин голос.

Сбоку слышались командирские оклики Шурки:

— Куда бросаешь? Тут и без подстилки твёрдо... Дале... Дале... Вот... Ну, щас вызволим!

И другой голос, спокойный:

— Вот сюда... Сюда, пожалуйста, одну берёзку, тут прямо жижа.

Вернулся Витька.

Мы срезали штук шесть-семь. Пришёл Толик и, увлакивая лесинки, сказал, что надо торопиться: овечку может затянуть так, что её не вытянуть ни за что.

У меня на большом пальце вздулся водянистый пузырь. Я боялся его прорвать, орудовал складнем осторожно, потому — медленно.

Шурка крикнул, что хватит.

Облегчённо вздохнув, мы выбрались на твёрдую почву и застали Шурку и Толика лежащими на берёзовых подстилках подле овцы по разные стороны. Они вцепились в шерсть на её боках и тянули вверх. Овца уже прочно вросла брюхом в трясину и, обессиленная, не рвалась. Шурка, мотнув головой, прохрипел:

— Не суйтесь сюда без надобности... Колька, дуйка на бугор, погляди остальных, как бы их в пшеницу не занесло. И не приходи больше...

Колька соскользнул со стволика берёзки и по колено увяз в трясине.

— Не пойду, пусть Мишка дует.

— Нет, беги. Мишка лёгкий, он тут спонадобится, а ты тяжёлый, как чурбан, у берега вон проваливаешься!

— Ага! Чуть интересно, так меня отправляют!
Не пойду!

— А можно — я пойду? — предложил Витька.

— О! Доброволец! — обрадовался Колька.

Витька взял бич и ушёл.

— Отпускай, Толь. Так не выйдет. — Шурка сел и стёр со лба пот.

Овечка, видя, что от неё отступились, взревела снова и снова дёрнулась. Шурка болезненно сморщился и стукнул её по морде.



— Ты что, тетеря? Видишь, подсобляем!

Колька, высвободив ногу, подполз к ним. Петька тоже. Помедлив, и я опустился было на четвереньки, но Шурка бросил мне:

— Мишк, ты останься там. Коль нужна будет жердиночка — вырубишь.

— Надо под живот ей пропустить палки, — рассудил Толик, — а там и тянуть проще.

— Точно! Дайте-ка ремень, у кого есть! — потребовал Петька.



Шурка выдернул свой, Петька зажал пряжку и погрузил кулак в рыжую грязь возле овечьего бока, а с другой стороны ремень принял Толик, тоже запустив руку в месиво.

— Так! Порядок! Колька, давай на ту сторону! Да куда ты, лодырь! — И он схватил Кольку за штаны. — Вокруг, а не через овечку!.. Вот! Взяли!.. И-и, раз!..

Потянули.

Перед овечкой наложили ворох березняка, чтобы она вновь не провалилась, если встанет на ноги. Меня так и подмывало помочь ребятам. Я напрягался, сдавливая себе колени, а потом вдруг заорал позвериному. Испугавшись, овца рванулась, высвободила передние ноги и по-собачьи, плашмя, оперлась ими в подстилку.

— Хорошо! Ребя, не ослабляй! — поддавал с натугой Петька, к которому как-то автоматически перешло командование. — И-и, раз!.. А ну, Миш, гаркни ещё!

Я собрался с духом и так взвыл, что овца дёрнулась, как ошпаренная, вырвала из трясины задние ноги, но они не попали на подстилку и опять сорвались в зыбун, но уже не так глубоко, да и вперёд овечка успела продвинуться.

— Ах ты, змея подколодная! Не может вылезти! — рассвирепел Петька и, сидя, поддал овце ногой под зад. Она дёрнулась и выбросила на подстилку задние ноги.

— Ура-а! — крикнул Колька.

— Давно бы так! — Петька расплылся в улыбке. — В восемь рук — как пушку из грязи. — Ну, что притихла? Рада небось? Но ещё не всё! А ну-ка подымайся! Давай-давай! — И Петька взбадривающе похлопал овцу по животу.

Овечка, беспокожно поводя глазами, заблеяла, но, когда ребята опять натянули ремень, привстала сначала на задние, потом на передние ноги и замерла, понимая, что неверное движение грозит ей новыми испытаниями.

— Бяша-бяша! — позвал я ласково.

Она вдруг вся напряглась, метнулась вперёд и выскочила на твёрдую землю, оступившись лишь одной ногой. На секунду остановившись, овца оглянулась на трясину, но тут же отвернулась и, быстро-быстро задёргав хвостиком-клинышком, побежала прочь, звонко и дробно блея.

Мы проводили её взглядом и вдруг рассмеялись — рассмеялись не потому, что было смешно, а потому, что было радостно.

— Ну, гвардия, назад! — подал команду Шурка и махнул рукой.

Все вымокли, измазались, как свиньи, и стали худыми, потому что штаны прилипли к телу. В моих сапогах урчало.

— Сейчас бы солнышко, — вздохнул Толик. — Как бы не простыть.

— Никакой чёрт нас не возьмёт! — заверил Петька. — А то и костёр можно!

— Внимание! — воскликнул Шурка, зарядил ружьё и поднял ствол. — В честь победы над трясиной! И вообще в честь победы! — добавил он и выстрелил.

Гром потряс небо.

С радостным прищуром, приоткрыв рты, мы дослушали его последний отзвук и дружно покинули болото.

То, что мы не доели и оставили на дождевике, доели овцы. А есть хотелось необыкновенно. Хоть бы какая корочка осталась или обрезки от огурцов, те,

что выбрасывали Кожины. Но овцы старательно подобрали всё. Колька нашёл замусоленный пластик сала и проглотил его одним духом. Овцы вдобавок ко всему растоптали планёр.

— Я прибежал, да поздно,— оправдывался Витька, держа в руках растерзанную модель.— А так полный порядок, только Чертилы нету...

Нас троих — меня, Витьку и Кольку — отправили в деревню за продуктами. По пути мы заглянули к деду Митрофану.

— Дедушка, здесь баран?

— А где же ему быть-то, как не тут...

— А мы овечку из трясины вынимали,— не выдержал Колька.

— Из трясины?

— Из трясины.

— Потопла!

— Одна голова торчала!

Дед дивился, охал, хлопая себя по коленям.

К скотному двору примыкал огород. Мы шмыгнули между жердей, накопили картошки, нагрузили её в подолы рубак, прихватили у деда Митрофана краюху хлеба, спички и припустили к своим — спасать от голодной смерти.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Несколько дней над Кандауром тучи играли в догоняшки. Каждая гналась и догонялась. Эта бестолковая суета надоела нам, как долгий сон, а тучи не унимались.

Из-за этой мутной погоды Шурка не отпускал нас в тайгу, страшая комарами и грозой. Мы ждали прояснения.

И конец хмаре пришёл. В полдень мы вдруг уловили радостный свет в небе. Вскоре вереница туч оборвалась и поплыла за тайгу. В какие-нибудь час-два высь расчистилась. Мы приветствовали солнце пляской и криками. Колька прокатился на Чертиле, а Витька встал на руки.

Успокоившись, мы расселись вокруг Толика, как вокруг костра, и принялись дослушивать «Конька-горбунка». Стадо паслось рядом.

От книжки нас отвлёк неожиданный гром. Из-за бугра медленно и вязко выкатывалась огромная лиловая туча. Таких махин мы не видели давно. Адская сила чувствовалась в ней.

Мы собрали стадо и погнали домой. На дороге уже танцевали столбики пыли. Везде был день, но под тучей была ночь. Эта ночь постепенно растекалась по земле. Деревню, когда мы пригнали овец, уже окутал сумрак. В эти предгрозовые минуты улицы как бы сузились и наполнились необычным уютом. Воздух стал ощутимо мягким и тёплым. Деревня замерла в покорном, расслабленно-ленивом ожидании шквала.

Мама дожаривала картошку на печурке во дворе, то и дело пробуя дымящиеся пластинки и косясь на небо.

Я присел перед печкой и принялся подкидывать в неё сухие щепки.

Первые капли из громоздких туч всегда редкие и крупные. Такими они были и теперь. Сперва на раскалённую печку упали две штуки и взорвались с шипением, потом шлёпнулось ещё несколько и также фыркнули.

— Мама! — крикнул я.

Мама тряпкой подхватила сковородку и, обжигаясь, убежала в дом.

Я задержался на крыльце под крышей — посмотреть грозу.

Дождь зачастил. Двор и дорога покрылись крохотными дымками взрывов. Потом косые струи с остервенением набросились на печку. Красные яблоки на её боках начали блёкнуть, сжиматься и наконец исчезли. Белым трезубцем блеснула молния. Я испуганно отпрянул от железной скобки двери. В это время на крыльцо Кожиных чья-то проворная рука выбросила кочергу и шумовку, и тут же пальнул гром. Я не выдержал этого треска и юркнул в избу.

— Мама, слышишь?

— Слышу... Садись ешь. Картошка сыровата. Ничего, это полезнее.

— Давай, мам, кочергу выбросим, а то она молнию притянет.

— А как же быть с кроватью? Она тоже железная. А вилки? А гвозди в стенах?

Действительно, как же так? Тут что-то не то.

Я не привык ложиться рано и долго ворочался в постели, прислушиваясь к дождевому шуму. Ночью я просыпался. Капли дождя мягко ударяли в окна.

Утро пришло свежее, яркое. Тайга чётко пропечатывалась на краю неба.

Мы радовались.

— Солнце теперь и вожжами не стянешь,— сказал Петька.

— Да,— проговорил Шурка.— Вот подсохнет, и пойдём.

— А скоро подсохнет? — не терпелось мне.

— Скоро. Тут завтра же, а в тайге дня через два-три.

Мы направились к скотному двору. Я шепнул Витьке:

— Пойдём вместе в тайгу.

— Пойдём, а ты был хоть раз?

— Нет.

— А не заблудимся?

— Не заблудимся! С нами пойдёт Петька или Колька, а они тут всё исколесили... Шурк, мы с Витькой сперва пойдём, ага?

— И я,— ввернул Колька.

Петька хотел было пойти вместо Кольки, но тот распетушился, сказал, что опять его в пятки оттирают.

— Ладно, ладно. Разошёлся, аж уши покраснели,— проворчал Лейтенант.

— Не хочешь идти с ружьём — не надо, мы постреляем.

— Ага! Даст тебе Шурка пострелять!

— Ружьё-то будет с теми, кто пасёт,— заметил Шурка.

Дед Митрофан против своего обыкновения не встретил нас, не распахнул двери. Мы сами развели скрипучие створки и подоткнули их поленьями, чтобы держались.

— Дед Митрофан! — Петька кулаком постучал по сторожке.— А может, мы грабители али разбойники, а? Может, мы телятник взорвём?.. Спит, разморило дождём. Поди, мается костями, как наша бабка.

Мы вошли в конюшню.

— Стойте! — насторожился вдруг Шурка.

— Что?

— Слушайте.

Мы притихли и неожиданно уловили слабые всхлипы деда Митрофана:

— Робята... Босалыги...

— Дедушка, где ты?

— Тут я...

Мы бросались от стойла к стойлу. Сторожа нигде

не было. Только лошади фыркали, укоризненно мотая головами.

— Да где же ты, дед?

— Да я снаружи... Ох,— простонал дед.

Выскочили во двор, завернули за угол и увидели старика. Он лежал под козырьком крыши, завалившись на бок, весь мокрый и посиневший.

— Слава те господи, дождался... Думал, замру, не дожdamши,— шептал он, подняв голову.

Мы, ничего не понимая, беспокойно склонились к нему.

— Что с тобой, дедушка?

— Зачем ты сюда лёг?

— Ох, только не троньте меня, не троньте... Не могу ногой ворохнуться... должно, сломал...

— Как же ты сломал?

Дед часто дышал, трясся, ойкал, клял кого-то, а когда Колька коснулся было его ноги, вскрикнул:

— Ай, не берись, чёртово племя... Сказываю — невтерпёж... Свалился я с крыши, вот что... Твердил себе: не лезь, старый хрен, не топорщся, так нет, понесла нечистая сила... Понесла да вот и принесла...

Только тут мы заметили лестницу, приставленную к крыше, да в стороне вбитую в грязь дедовскую фуражку.

Подошли пастухи коров — две тётки, растолкали нас и присели перед дедом.

— Ой, да что с тобой, молод человек?

— С крыши он брякнулся,— пояснили мы.

Митрофан уронил голову на руку и молчал. Бабы приподняли его, взяли по руке себе на плечи и повели. Старик кричал, как маленький, переступая одной ногой и волоча другую.

Когда мы выпускали овец, видели, как деда укладывали в телегу, а потом повезли.

Вечером мы узнали, что у Митрофана перелом ноги, что его положили в больницу, и надолго, потому что стариковские кости плохо срастаются: мало в них жизни.

— Это из-за тётки Дарьи,— сказал Шурка.— Не прислала плотников, вот дед сам и полез крышу латать.

— По шее бы её, мало что председательша,— потряс кулаком Петька,— а теперь вот дед Митрофан искалечился.

Всю глубину привязанности к старику мы открыли в себе, когда, загнав стадо и закрыв овчарню изнутри, проходили через конюшню и когда тётка Мария, заступившая вместо деда, крикливо сказала: «Нечего тут шлаться, беспокоить лошадей. У вас есть свои двери, там и ходите!» Дед Митрофан никогда так не говорил. Да и чем мы мешаем лошадям? Чаше всего их тут нет, а когда здесь, то мы мимоходом подбираем выпавшее из яслей сено да треплем косматые гривы, выбирая из них цепкое репье. Дед понимал нас.

Я всё рассказал маме. Она проговорила:

— Конечно.

— Что конечно?

— Что дедушка славный человек. Только на крышу ему можно было не лазить... А тётка Дарья замоталась вконец на полях.— Она помолчала и вдруг спросила: — Помнишь тыкву с глазами?

Ещё бы не помнить! Месть Граммофонихе удалась на славу. На следующий день Граммофониха шёпотом сообщила бабам об «иродовом упреждении» — быть беде. Она даже ходила бледная и понурая.

Подозрение на нас не падало. Лишь мама вот пыталась меня взглядом.

— Это мы,— признался я.— Она про Петьку и Кольку враки распустила.

— Чтобы этого больше не было.

— Граммофониха сама заработала.

— Всё равно.

Я не стал огорчать маму своим упрямством, замолчал, хотя и не был с ней согласен.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Вскоре, вечером, выбравшись из-за стола, я сказал:

— Мама, завтра мы идём в тайгу.

— В тайгу? Шишки-то ещё не спели.

— Когда поспеют, мы вдобавок сходим.

Мама в прошлом году сама шишковала и однажды провалилась с кулём в «окно», ей помогли выбраться бабы. С тех пор она побаивалась зыбуна.

— Вы пойдёте сланью?

— Болотом.

— Болотом я тебя не пущу.

— Почему? — обеспокоился я.— Колька с Шуркой ходят, и я пройду. У меня такие же ноги.

— Ноги-то такие же, да чутья нету. У здешних особое чутьё на болото.

— Да я, мам, буду ступать нога в ногу.

— Вот как раз и провалишься.

— Не провалюсь. Мы овечку из трясины вытягивали — не провалились. Нас же трое. Мам? — взывал я.

Мама наконец согласилась.

Мы допоздна говорили с ней о таёжных неожиданностях, о шишковании колотом. Колот — это бревно, которым с помощью веревок бьют стоймя

по кедр, и спелые шишки от сотрясения срываются с веток.

— Тяжело это — колотом,— сказала мама.— Бьёшь — тяжело, а другое — носишь его от кедра к кедр, носишь на горбушке, не иначе. Прошлый год мы с бабами прямо надсадились. Вчетвером подыдем колот-то и пойдём. Одна оступится, и все валимся, как снопы.

— Мам, а папка у нас сильный? — вдруг спросил я.

— Папка? Сильный. А что?

— Он смог бы с колотом один управиться?

— Смог бы.

— А с двумя колотами?

— И с двумя бы управился.

— А с тремя?

— Ну, если бы мы с тобой помогли, то и с тремя бы тоже сумел.

— Вот здорово! Вот мы поишкуем, когда папка вернётся. В три колота как возьмёмся — тайга загудит.

— Миша, а ты очень веришь, что папа вернётся? — вдруг спросила мама задумчиво.

— Конечно, очень! — аж приподнявшись на локте, ответил я.— А разве ты не веришь?

Мама улыбнулась, провела рукой по моей голове.

— Как же это я не верю? Верю. Я не просто верю, я знаю, что папа вернётся и будет с нами шишковать и работать. И сидеть за столом, и вот так лежать и разговаривать... Как увидит папа кандауровское болото, так и начнёт хлопотать об осушении. Папа наш очень не любит болота, у него и специальность такая — с болотами воевать.

— Нет уж, нет,— сказал я.— Мы ему не дадим болото осушать.

— Кто это: мы?

— Мы — ребяташки. На болоте интересно.

— Ну, про это вы с папой поговорите, мне всё равно.

Я укладывался спать с каким-то лёгким, радостным чувством и с крепкой верой в светлый завтрашний день.

Утром мы отправились в путь.

Мы втроём вырядились в походную форму: в сапоги, куртки поверх рубах и кепки. Кроме еды, взяли спички и большой кухонный нож. Складень мне и хотелось взять, и в то же время я боялся его потерять. Наконец я решился и опустил его в карман.

— Кольк, знаешь, где идти-то? — спросил Шурка.

— Знаю, не первый раз, — чуть с обидой ответил Колька. — Хаживал.

— Ты не криви губы-то... Да и не один ты, смотри, чтоб не завести куда. А для всякой случайности слушай: значит, от конского кладбища по тропе — на «Тарелку», от «Тарелки» по канаве — на Шугайские острова и обратно... А коли где закрутитесь, так выбирайтесь на Шугайку, а по ней — к слани.

— Да знаю, знаю, чо ты мне вбиваешь? — возмущался Колька.

— Вы тоже не зевайте, — шептал нам Петька. — Не давайте ему вилять. Как свернёт с канавы, вы ему — в ухо.

— Ладно, — пообещал я. — В ухо так в ухо...

Весь этот разговор вёлся, пока мы шли за стадом по деревне. Дальше путь раздвоился. Колька передал ружьё Шурке, Толик сказал Витьке, чтобы он обдумывал каждый шаг, и мы разошлись. Ребяташки с овцами нырнули вниз, в Мокрый лог, а мы направи-

лись по малоезженной дороге, вившейся в Клубничном березняке.

Мы шли бодро, радостно, предчувствуя необычайность всего предстоящего. Я нёс котомку с провизией, а Колька мешок из холстины, перевесив его через плечо.

Бугор часто пересекался мелкими ложбинами, заросшими папоротником. Здесь березняк был гуще и выше. Такие сырые травянистые места любят змеи. Порой березняк разрежался, а то и расступался вовсе, образуя солнечные полянки в ромашковых платьях. Начинаясь кустами, березняк далее креп, мужал и где-то вдали превращался, очевидно, в лес.

Прошли ключ, то место, где я пристрелил змею.

— Скоро кладбище,— предупредил Колька.— Я уж чую, пропастиной несёт.

Конское кладбище — это место, обнесённое земляным валом, куда свозиласьдохлая скотина. На краю кладбища, словно олицетворяя смерть, стояла высокая белая и совершенно сухая берёза — она не отзывалась ни на весенние позывы жизни, ни на осеннее увядание. Она казалась каменной. Ветер не мог её пошатнуть, а лишь иногда отламывал от неё ветки, бросая на землю, и ветки со звоном разбивались вдребезги.

Вот она, эта берёза, показала нам свои рогатки поверх зелёных зарослей. Скоро и вся она открылась нам, мощная, суровая, мёртвая. Тут же окончательно потерялась в траве дорога.

Колька сопел.

— Вы нюхните-ка.

Мы нюхнули.

— Уйдёте отсюда скорее,— поторопил Витька.

— А знаете, какая тут клубника! — воскликнул



Колька, когда мы спускались к болоту.— Нигде не сыскать такой клубники. Сунешь морду в траву — морда окровавится! Сам пробовал. А вкусная!

Витька сморщился.

— А она не вонючая?

— Чего ей вонючей быть, она ж землю сосёт!

Колька важничал. Мы поняли и переглянулись.

Миновали тальник и камыш, следуя исхоженной тропой. Колька приказал идти не по самой тропе, а рядом, потому что мох на тропе вытоптан и легче провалиться. Начался зыбун. Мы с Витькой ойкнули, когда ноги на полсапога ухнулись в воду, и попятились.

— Вы чего мнётесь?

— Смотри, нога-то вязнет... А дальше как?!

Колька ничего не ответил, повернулся и, чавкая сапогами, пошёл через болотную поляну. На середине её он остановился и принялся пружинисто раскачиваться. Зыбун колыхался еле заметными кругами, как от поплавка при хитром клёве, и держал вроде крепко, только вода грозила хлынуть в сапоги. Колька сделал несколько шагов от образовавшейся воронки и крикнул:

— Видали?.. Айдате, а то один упрусь...

— Пошли, Вить, не утонем.

— Рискнём.

Рыхлый мох вдавливался. В ямку к ноге устремлялась вода, но делался шаг, и вода устремлялась к другой ноге. Так и чудилось, что под подошвой — бездна, куда суждено провалиться, если не сейчас, так через десять шагов.

— Наступайте где трава,— учил нас издали Колька.

Он поджидал нас на твёрдом клочке, заросшем каким-то мелколистным кустарником. К нашему ужа-

су, впереди раскинулась такая же поляна, которую мы только что преодолели.

— Сколько ещё таких? — спросил растерявшийся Витька.

— Пять,— успокоил Колька.— Вот эта и потом четыре, те поболее... А там озеро... Пошли?

— Дайдохнуть.

Я оглянулся. Отсюда хорошо был виден бугор, мёртвая берёза, а левее — Кандаур, спичечные коробики домишек, лоскуты огородов. От этой кажущейся близости жилья становилось бодрее.

— Ну, айдайте!..

Поляну от поляны отделяли полосы прочной земли, похожие на спины китов. Было как в «Коньке-горбунке». Суша прочно и густо обжилась березняком и ёлками. Тропа юрко прошивала их и вновь терялась в зыбучих мхах.

— Ну как, Вить?

— Не очень...

— Скоро конец. Прошли уже четыре, ещё две осталось...

— Я тоже считаю.

— Трудное позади, а там — легко,— подбадривал я, сам не зная, что впереди.

И тут Колька сообщил:

— Щас будет полая вода, самое паскудное место.

Мы выбрались на островок и увидели эту полую воду.

— И по ней идти? — шёпотом спросил Витька.

— А то как же.

— Кольк, а если обойти вон тем островом,— предложил я.

— Там окно и с другого бока окно... Только прямком.

Я посмотрел на Витьку. Он помотал головой.

— Я, наверное, не пойду. Вы идите, а я останусь.

Мне тоже было боязно, очень боязно, но останавливать поход я не собирался. Не собирался я оставлять и Витьку.

— Кольк, а тут ходили?

— Я только, посчитай, сколько ходил да, кроме меня, полдеревни.

— Вить, слышишь, тут ходили... А не проваливались?

— Не проваливались.

— Вить, слышь, не проваливались.— Вытягивая из Кольки эти сведения, я успокаивал себя и Витьку. Но он молчал.— Пошли, Вить.

— Да чо бояться-то,— возмутился проводник и вдруг заявил: — Под водой твёрдо, как деревяшка.

Довод подействовал.

— Хорошо, пойдёмте... Меня только в середину пустите.



С первых же шагов вода хлынула в сапоги вёрхом. Пропало чувство равновесия. Шагаешь, будто по небу, так и кажется, что валишься на бок.

— Где же твёрдо? — растерянно спросил Витька.

— Не сразу же... Скоро...

Но прошли уже до середины, а под ногами по-прежнему податливо прогибался мох. Я понял, что ничего твёрдого не будет.

Когда мы выбрались на островок, Колька сказал с улыбкой:

— Вот, я соврал, и, глядишь, прошли, а то бы топтались на той стороне.

Та сторона! Как она была далеко! Не верилось даже, что мы были там. А впереди опять блестела вода.

— «Тарелка», — пояснил Колька.

«Тарелка» — озеро, прозванное так за свою круглую форму. Возникшее среди болота, оно поражало чистотой и опрятностью.

Его окружало плотное кольцо березняка, так что ветер касался его поверхности лишь едва-едва.

Колька от озера утянул нас на канаву.

— Скоро? — спросил я.

— Ещё столько, полстолько и четверть столько, — ответил наш вожатый. — Вы ещё не промялись?

— Я нет, а ты, Вить?

— Тоже нет.

— Давайте проминайтесь, а то я — уже!

Канавы отрыта человеческими руками. Об этом говорят валы земли по обеим её сторонам. Отрыта давно, и эти валы уже заросли березняком, как и всё вокруг. Березняк. Березняк. Частый, как рассада, тонкий и высоченный, с зеленью на самой вершине, он наполнял всё вокруг каким-то неживым светом. Куда ни глянь — одни белые стволы. Только вода

журчала в канаве да изредка впереди суматошно срывались утки, услышав потрескивание хвороста под нашими ногами.

— Как в больнице,— прошептал Витька.

— Кольк, будет конец этим кольям?

— Намыкаемся ещё,— ответил Колька, отдирая от лица паутину.

Вышли к боковой канаве.

— Это не Шугайка?

— Нет, просто боковушка.

— А то смотри — в ухо получишь, коли хитрить начнёшь.

— Я те дам в ухо!

— Да мы так.

— Знамо, что так... Это, поди, Петька подучил?

Лес начал темнеть. Березняк кончился. Хмуро придвинулись сосны, ели и большие, обделённые зеленью берёзы, с черноватой, будто подпалённой, корой, совсем не такой, как у чистоствольных полевых берёз.

Комары, мало досаждавшие нам, теперь остервенели. Они окружили нас облаком и проникали всюду: в рукава, за пазуху, даже в штаны. Мы чесались, принимались бежать, но чем дальше в лес, тем больше комаров. Хотелось живьём кинуться в костёр. Но раскладывать костёр было некогда. Пришлось подтянуть верх куртки, заправить воротники под кепки и застегнуться, оставив щели для глаз. Руки покрылись твёрдыми волдырями и прямо разрывались от зуда. А тут ещё встретились дремучие заросли крапивы. Мы их разнимали животами, а руки держали поднятыми, будто сдавались в плен. Подлые комары не зевали и ели нас поедом.

— Вот собаки,— ругался Колька.— Токо что лаю не хватает.— И вдруг крикнул: — Ребя! Вон кедр.

— Где они?

— Вон... Щас выйдем. Вон.

На той стороне канавы я увидел могучее дерево, которое отличалось от других своим ростом и пышной курчавостью хвои. Концы его средних длинных ветвей забирались в хвою соседних сосен, а нижние подпирались ёлками. Самая макушка венчалась тугими пучками шишек. Вот это кедр!

Тайга становилась глуше. Канавы перекрывались сетью поваленных стволов, гнилых, полуразрушенных и ещё крепких.

По этим стволам мы и перебирались с одной стороны канавы на другую. Канавы углубились и расширились. Склоны её затянулись непроходимым шиповником и густыми лопухами. Невидимая вода журчала где-то глубоко.

— Вот бы Толика сюда,— восторженно сказал Витька, когда мы остановились посреди ствола-мостика на большой высоте.

— Да он тоже пойдёт!

— Нам бы вместе.

Мы забыли и про зыбун, и про полую воду, и про комаров.

Впереди мелькнул просвет, и мы вышли к полукружному свободному пространству, залитому солнцем, и поразительная картина открылась перед нами — гарь. Обуглившиеся корни вывороченных деревьев, чёрные стволы, стоявшие прямо, как гвозди, скрещённые, недогоревшие,— всё это, неподвижное, угрюмое, поразило нас своею мертвенностью, своим безмолвным унынием. Сквозь слой золы и угля пробилась уже молодая поросль, но упрямая чернота сквозила через всю зелень.

Потом опять потянулась сумрачная тайга.

— Красиво,— сказал я.

— Когда мы есть будем — вот это красиво!

— Обжора ты, Колька! Есть да есть! Придём на место и поедим.

— Тогда сымай котомку, пришли... Вот она, Шугайка преподобная.

Тайга прервалась. Мы выскочили на илистый берег, поросший высокими хвощами, и по бревну перебрались на ту сторону речушки, возвышенную и солнечную. Комары рассеялись. Мы упали в глубокую траву, скинули тяжёлые сапоги и разбросали мокрые портянки. Ноги от воды побелели...

Колька развязал котомку, вытряхнул содержимое, схватил самый крупный огурец и мигом обезглавил его.

Кедрач не сплошь заселял здесь тайгу. Он был разбросан пятнами, островами, которые возле речушки назывались Шугайскими. Перед нами и раскинулся один из таких островов.

Мы поели, оставив про запас, обулись, напились из Шугайки холодной воды и перебрались в кедрач. И тотчас комары, вылетая из засад, снова набросились на нас.

Колька озабоченно шарил глазами по вершинам. Я тоже задрал голову, хотя не знал, что, собственно, следует высматривать.

— Колька, а что ты ищешь?

— Чо лучше.

— Да лезь на любой — везде шишки висят, — рассудил Витька.

— Мне чтоб сразу полмешка, — пояснил Колька. — Чтоб не зря царапать брюхо... Вон тот шишкастый. — Он перепрыгнул колдобину и бросил мешок возле одного из кедров. — Щас шест вырежу.

А мы с Витькой живо насобирали валежника, сухой хвои, накрошили сверху сырой травы и подо-

жгли. И пока Колька возился с шестом, мы поочерёдно совали распухшие лица в густой белый дым и, затаив дыхание, коптили физиономии. Комары только гудели, но не жалили.

Наконец Колька сказал:

— Я полез... Вот только зря так напузырился,— он помял себе живот,— вниз тянет.

Я предостерёг:

— Смотри не сорвись! Сам-то пролетишь между веток, да живот застрянет.

Колька плюнул на ладони, вытер их о штаны и полез, потянув за собой шест, привязанный к поясу. Его руки не обхватывали толстый ствол, а лишь сжимали его с боков. Ухватится Колька, подтянет ноги, стиснет ими кедр и руки выше заносит, потом опять поджимает ноги. Он полз, как гусеница. Пошли ветки, и Колька быстрее подался вверх. Скоро он исчез среди хвои, и шест пропал, и о Кольке напоминал лишь треск трухлявых сучьев, которые он обламывал нарочно из-за их ненадёжности.

— Колька слезет, и я полезу,— сказал я.— А ты полезешь? Оттуда Кандаур видать, всю тайгу... Ещё что-нибудь.

Витька обвёл взглядом кедр:

— Попробую... Мальчик с пальчик и тот лазил.

— На кедр?

— Может быть, и на кедр... А зачем Колька палку взял?

— Шишки сбивать. Они ведь зелёные, так не отваливаются.

На всех кедрах метрах в двух от земли виднелись глубокие, затёкшие желтоватой смолой выбоины — следы от ударов колотами. На иных стволах, образуя уродливые наплывы, различалось по две и даже по три таких ямины.

— Эге-ге! — донеслось сверху.

— Эге-ге! — ответили мы.

— Колочу... Не зевайте, а то шишка прилетит — шишку посадит.

— Давай.

Послышалось встряхивание веток, и шишки одна за другой градинами начали плюхаться вокруг. Одна из них ударила в подставленную мною кепку и выбила её из рук. Тяжёлая, фиолетовая, с плотно пригнанными липкими чешуйками. Я надкусил горьковатую кожуру и обнажил белые с лёгким коричневатым налётом орехи. Нетерпеливо расщёлкнул первый в этом году орешек. Ядрышко было мягким, пахнущим хвоей и молоком.

— Вить, попробуй-ка.

— А от них ничего не будет?

— Конечно, ничего.

Комары снова прижали нас к костру.

А шишки падали и падали. Некоторые, рикошета, со свистом отлетали далеко в сторону. Одна шишка, как бомба, врезалась в наш костёр, подняв облако искр и пепла.

С неба послышалось:

— Тикайте... шест кидаю.

Мы стали под кедр: я под тот, где сидел Колька, а Витька — под соседний.

— Не выглядывай, так и пропорет шею, — предупредил я друга и крикнул вверх: — Швыряй!

Возник нарастающий стремительный шум... Я почувствовал удар, схватился за голову. Пальцы попали во что-то жидкое, тёплое. И вдруг кедры вздрогнули перед глазами, качнулись и повалились набок. Я рухнул во влажный мох...

...Очнулся я ночью, лёжа на спине. Надо мною чернело беспотолочное небо в ярких веснушках.

Рядом пылал костёрчик, вырывая из темноты тёмно-красные комли ближних деревьев. Где я и почему я лежу? Я хотел привстать, но резкая боль в голове опрокинула меня. Я застонал.

— Мишк, Миша,— услышал я под самым ухом испуганный Витькин голос.— Ты слышишь меня?

— Слышу.

— Наконец-то... Коля, иди сюда. Мишка очнулся...

Я вспомнил нарастающий шум брошенного Колькой шеста, удар по голове, кровь под пальцами.

Подошёл Колька с палкой в руке. Оказывается, время от времени он отходил от костра и стучал по кедром, отпугивая невесть кого.

— Очухался?

— Очухался.

— Голова болит?

— Болит.

— Ещё бы! Это хорошо, что шест криво падал, а если бы прямо — пришибло бы! Зачем ты, балда, под кедр-то встал?

— А куда?

— В сторонку бы.

— А ты зачем по кедру пустил?

— А куда я пущу?

— Швырнуть надо было.

— Швырнёшь там, когда сам еле держишься...

Да и почём я знал, что ты тут как тут.

— А здорово череп-то раскроился?

— Нет, не шибко... Не бойся, мы кровь уняли.

— Миша, есть хочешь? Для тебя оставили...

— Не хочу.

— А шишек? Мы нажарили шишек. Вкусные!

— Не хочу... Пить.

— Щас,—сказал Колька. Он порылся в котомке что-то вынул и нырнул в темноту.

Журчала вода. Наверное, мы на канаве. В тишине крикнула утка.

Витька вздрогнул, а потом сказал с насторожённой улыбкой:

— Утка. Как в деревне... Что думает сейчас Толик?

— Ты не бойся, к костру ни один чёрт не сунется,— сказал я.— Мне бы спину к огню, замёрз.

— Сейчас я тебе помогу.

Он помог мне развернуться. К обомлевшей спине мигом припала теплота. Глаза закрывались. Колька принёс воду в огуречном стаканчике. Я выпил, и внутренний холодок разбежался по телу дрожью.

— Чуть посветлеет, и пойдём,— проговорил Колька.— Вить, подкинь сушняку, пусть ярче полыщет.

— Как же вы со мной пойдёте?

— А так же,— ответил Колька, поднял свою палку и удалился. Тотчас послышался стук и его сердитый голос: «Кши, гады, кши!»

— Вить, а ночь давно?

— Не очень. Часа три.

— А как вы меня тащили?

— Мы тебя никак не тащили. Мы только уняли кровь да ближе к канаве поднесли, вот. Тебе бы нашатырь нюхнуть... Мы маме давали нашатырь. С ней часто случалось...

Я повернул голову к Витьке. Уловив моё насторожённое внимание, он после некоторого молчания произнёс:

— Мама всё говорила, что долго-долго будет жить, нас вырастит... А то вдруг — в слёзы: «Как вы,



говорит, без меня будете?..» Живая — про смерть... А как она трудно умирала!.. Ночью...

Витька замолчал. Потрескивал костёр. При вспышках лес озарялся глубже, при угасании темнота придвигалась вновь.

Витька уже несколько раз говорил о том, как трудно и страшно умирала их мать. И постепенно передо мной нарисовалась картина смерти Кожихи, дополненная воображением... Ночью ребят разбудил крик. Плача и трясаясь от страха, они зажгли лампу. Мать металась в постели, выгибаясь дугой, будто хотела переломиться, и иссохшими руками сжимая себе горло. Лицо её почернело и сморщилось, глаза оставались закрытыми. Пока обезумевшие ребята

ки бегали к соседям, она умерла, не оторвав рук от горла... А хотела долго жить, хотела вырастить ребят. Ну, вырасти они и так вырастут — колхоз поможет, но только ведь без матери — это плохо... И Кожиха представлялась мне уже не такой плохой, наоборот, она вон заботилась о ребятишках и вообще... Они всегда ходили чистые и опрятные. Они и сейчас, без матери, одеваются так же аккуратно... Надо и мне остерегаться — поменьше пачкаться, пусть мама порадует... Я размышлял в каком-то полузабытии. Но, вспомнив о маме, очнулся и шёпотом — громко говорить не мог: в голове отдавалось — произнёс:

— Хоть бы мама осталась ночевать на таборе, а то подумает, что мы затонули, и всполошится... К утру-то я, может, отлежусь.

— Толик, наверное, не спит — беспокоится... Подбежал испуганный Колька:

— Ребя, гляньте, гляньте...

На нас надвигались какие-то огоньки. У Витьки подкосились ноги, и он сел, прикрыв рот ладонью. Я соображал не очень ясно, но понял, что сейчас случится что-то ужасное... Огни — ближе, ближе. Они то прятались за стволы, то снова выплывали. Они блуждали. И быстро явилась мысль: волки. Но почему они одноглазые?

И тут послышались глухие человеческие голоса и вдруг — голос:

— Вот они, обормоты!

Анатолий. Я закрыл от слабости глаза, но тут же опять раскрыл.

Люди спешили, чуть не падали, путаясь в корневищах. В руках у них дёргались фонари. Да сколько их, полдеревни, что ли? Нет, это тени мелькают. Их — трое.

— Ах, Робинзоны! Ах, шугайские Крузы,— восклицал Анатолий, приближаясь к нам.

— Мальчики! Что же вы? Зачем же вы остались в тайге? Миша!

Этот голос я узнал. Я почти испугался от радости. Я крикнул:

— Мама!

В голове кольнуло — сознание пропало...

Должно быть, я видел сон: мне казалось, что я плыл, что мне в ухо жужжали пчёлы, которым пасечник Степаныч говорил: «Нельзя, свой», что вокруг булькала чёрная вода и в неё, как в барабан, дробно ударяли кедровые шишки. Потом из мрака выпрыгнула оскаленная морда Игреньки и проговорила: «Молодец, братуха!» И всё качало и качало.

Я очнулся. Меня несли. Чавкало болото. Витька рассказывал:

— Мы спрятались и крикнули: «Кидай». Коля кинул, и вот...

— Я думал, он в сторону бросит,— неожиданно для всех произнёс я.

— Миша, тебе нельзя разговаривать,— слышался мамин шёпот. Она несла носилки сзади.

С трудом я различал её лицо.

— Мама, мне не больно.

— Молчи...

Сбоку подошли Витька и Толик. Это он был третьим.

— Последнюю поляну проходим,— проговорил Витька.— А там — земля.

Сгоряча я не чувствовал боли, храбрился, но на второй же день меня скрутило. Кошмарный, полный фантастичности, бред сменялся тупым бездумным забытьём, забытьё — сном. Иногда в минуты покоя хотелось разбросать тёплые подушки и душные одеяла и нагишом выскочить на улицу. Но при малейшей попытке приподняться острая боль в голове опрокидывала меня, и опять — бред.

Однажды, вынырнув из забытья, я уловил разговор матери с врачом.

— Не беспокойся, Лена, рана не опасная. Проби-та только кожа, а кость цела.

— Но он почти не приходит в сознание, всё время бормочет, то Хромушку вспоминает, то Игреньку. Я склонюсь к нему, а он не узнаёт, — со слезами в голосе говорила мама.

— Что ж поделать, всё-таки сотрясение... Не расстраивайся, скоро уладится. Я знаю ряд случаев более тяжёлого состояния, и то всё кончалось благополучно... Только следи, пожалуйста, чтобы он не вскакивал, не вызывал в голове болевых ощущений, это затянёт выздоровление... никаких порошков не выписываю, они ни к чему... Загляну послезавтра.

Сотрясение мозга! Что это за болезнь? Когда мама, проводив врача, вернулась, я позвал:

— Мама.

— Не разговаривай, Миша, тебе надо молчать. — Она склонила ко мне лицо с росинками в глазах.

— А что такое «сотрясение мозга»?

— Это значит: поколет-поколет и перестанет, только нужно спокойно лежать.

Первый день я ничего не ел, а потом явился аппетит. Твёрдое жевать не мог. Мама готовила мне всё лёгкое и жидкое. Пил я через стеклянную трубочку, которую подарила врач и которая, по её словам, была волшебной. Потягивая кипячёное молоко, я вспоминал Кожиху, потому что стал походить на неё: у меня — стеклянная трубочка, у неё — железная воронка, я не могу жевать, она не могла глотать — всё просто, оказывается, и нет тут ничего странного и страшного.

Как-то мама принесла немножко сахару.

— Ого! — обрадовался я. — Где это ты взяла?

— Марфа дала. «Вот, говорит, отыскала на полке, возьми, подкрепи сына».

— Граммофониха?!

— Граммофониха. Чего дивишься?

— Так ведь... — Я пожал плечами, не зная, что сказать.

Мама поняла и вздохнула:

— Эх вы, люди!.. Только с одного бока на человека-то смотрите, а с другого глянуть — ума не хватает. С одного бока все люди покажутся одноглазыми, а обойдёшь — и второй увидишь... Вам бы только тыквы под окна совать. А она, может, последнее от себя отдала... Ну ладно, тебе много ещё нельзя разговаривать.

Я задумался. Взбалмошная Граммофониха вдруг улыбнулась мне и сказала протяжно-певуче: «Ах ты, ока-ян-ная душа!» И в этих словах я не ощутил злости и гнева, но почувствовал великую доброту.

Сахар лежал в тряпочке рядом, на табуретке, на которую подавалась мне еда. От сладостей мы отвыкли. Колхозный мёд почти целиком сдавался государству, а если что и получали на руки, то

приберегали к морозам, наслучай простуды. А зимой мы любили грызть сладкую подмороженную картошку, с трудом отыскивая её среди десятка таких же подмороженных, но не сладких.

Вспоминая неожиданно щедрое угощение пасечника Степаныча, я нет-нет да и тянулся к сахару, добывая его из тряпочки по-кошачьи — языком.

— Вот и поправляемся, Миша! — сказала с радостью мама.

Оказывается, за эти дни она всего несколько раз побывала на полях и завтра собиралась выйти на работу по-настоящему.

— Я попрошу бабушку Акулову, она к тебе будет наведываться.

— Мама, а почему ребятишки не приходят? — спросил я, повернувшись на бок. Ворочался я уже свободно, боль сгладилась.

— Да они надоели: можно к Мишке да можно к Мишке. Я их прогоняю.

— Почему?.. Ты уж ихпусти. Я ведь не заразный, а они подумают, что заразный... Я соскучился. Как придут —пусти.

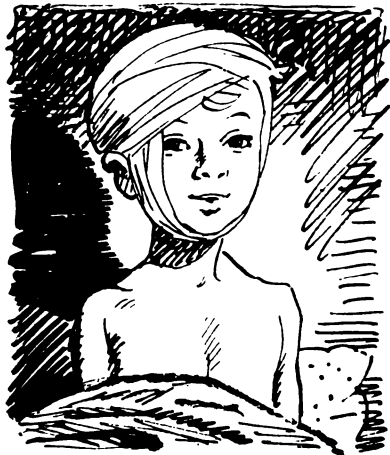
На следующий день в обед они тесной кучкой ввалились в комнату. Стукнулось затылком о пол ружьё, которое, наверное, приставили к стенке.

— Чтоб тихо,— грозил кому-то Петька, очевидно Кольке.

Ребятишки осторожно прошли ко мне в горницу и выстроились возле кровати. Получив, должно быть, от мамы строгий наказ не разговаривать, они молчали, как пни, и только смотрели на меня большими удивлёнными глазами.

— Ну, вы что как немые? Мама настропалила?

— Мишк, а ты и вправду молчи. Потом наболтаешься,— посоветовал Шурка.



— Миш, ты, сказывают, дураком станешь,— развязал язык Колька.

— Дураком?!—Я чуть не сел в кровати.

Петька щёлкнул Кольку по уху.

— Чо мелешь, лопаухий! Сам дурак — думаешь, завидно другим?

— Да как же я стану дураком, если я всё понимаю, соображаю? — обеспокоился я.

— Лежи, лежи! — вмешался Витька.— Дураки дураками рождаются, а кто был с умом, тот и останется с умом.

— Верно,— поддакнул Лейтенант.— Например, Колька никогда из оболтусов не выбиться.

Колька отодвинулся ото всех, надулся.

— А у нас никаких новостей,— сказал Шурка.— Ты молчи, молчи... В тайгу ещё не ходили, есть пока шишки.— При этих словах он достал из кармана три большущие обгорелые шишки и положил на табуретку.— Поджаренные, не смолистые... Чертило опять начудил. Мы прозевали, он удрал, да прибежал в деревню, да и пошёл тётку Марию гонять по двору. Она ажно юбку коленями порвала, вот как удирала. А пригнали мы стадо, она нас чуть живьём не съела, страдалась жаловаться тётке Дарье. А мы что? Это Чертило... Вот... А ещё были в больнице у деда Митрофана. Лежит. Нога в белой глине, как колодина, на подушку опирается. Подживает, говорит... В колхоз привезли ещё один комбайн, и на него поставили киномеханика. Теперь, наверное, кина у нас не бу-

дет... Да, тётка Мезенцева с девочками собрали манатки и уехали куда-то на быке. А Тихона как взяли да отправили в город, так ничего и не слышно.

Я им сказал про сахар и Граммофонику. Они тоже удивились.

— Ну, ты выхварывайся. Мы к тебе будем забегать.

— Почаще.

Ребятишки уходили, пятясь к двери. Остался один Витька.

— Хочешь, почитаю?

— Почитай.

Он отвёл из-за спины руку. В руке — книга.

— Что это?

— «Золотой ключик» Толстого.

— Какого: с бородой или без бороды?

— Без бороды. Ну слушай.

Он начал читать про деревянного забавного мальчишку Буратино.

Я, должно быть, утомился, поэтому скоро уснул.

После обеда заглянула бабушка Акулова, разогрела мою еду, поставила на табуретку и села на стул напротив, скрестив руки на коленях.

— Ешь, ангелочек, ешь. Сытого бог бережёт.

— Нет, это бережёного бог бережёт,— поправил я, зная пословицу по словам деда Митрофана.

— Ничего, и сытого тоже... Не люб ты, видно, тайге-то. Я вот всю свою жизнь по тайге-то, нашей матушке, мыкаюсь, как неприкаянная грешница, колупаю с сосен смолушку. И не берёт меня никакая сила.

— И меня не взяла никакая сила. Это Колька трахнул меня, а не сила,— восстал я.

— Но-но... Ты скажи мне, что это: «На болоте плачет, а с болота нейдёт».

— Это кулик,— отгадал я.

— А это: «Заря-заряница, красная девица, врата запирала, по полю гуляла, ключи потеряла, месяц видел, а солнце украло».

Я задумался. Гм! Заря растеряла ключи, а солнце их украло. На солнце не похоже, чтоб оно воровало.

— Не знаю, бабушка. Что это?

— Роса, мой ангел, роса в поле... Ну, а вот ещё: «Стоит древо, древо ханское, платье шемаханское, цветы ангельски, когти дьявольски».

Дерево с когтями?! Я, упершись взглядом в угол комнаты и двигая челюстями, перебрал в уме несколько деревьев и кустов. У какого же есть когти? А!

— Шиповник!

— Верно, сынок, верно... Светлая головка... Да ты ешь, ешь, простыло всё...

Как-то, очнувшись от сна, я застал маму за рисованием. На большом листе бумаги крупными печатными буквами было написано «Боевой листок» и ещё что-то помельче. Мама нарисовала трактор, под ним — парня: голову — с одной стороны трактора и ноги с другой. Глаза его закрыты, и редкие толстые ресницы кажутся дратвой, которая сшила веки, из круглого рта вырывалась какая-то длинная петля, внутри написано: «хыр-хор».

— Мама, тебя рисовать заставили?

— Нет, сынок, это моя обязанность. Я же завклубом.

— А кто это под трактором?

— Один лодырь.

— А может, он не лодырь, а просто устал.

— Конечно, устал. Если бы он ещё не устал да спал, это был бы преступник.

— А...

— Сейчас, сынок, все устают, но останавливать работу никто не имеет права. Нужен хлеб, чтобы победить. А кто, кроме нас, может дать хлеб? Никто. Значит, для нас не должно быть усталости.— Последние слова она говорила уже не мне, а вообще, говорила зло и отрывисто, потом спохватилась и шёпотом, с улыбкой добавила: — Спи, я скоро...

— Да куда же мне спать? Не лезет уже сон-то... Мам, а кино скоро будет?

— Скоро.

— А правда, что киномеханика на комбайн забрали?

— Правда, но назначили другого.

Надо мной висел портрет папы. Свет лампы поверх книги, заслонявшей меня, падал на него: на лицо, на волосы, на шрам, на глаза. Эти глаза смотрели на меня так приветливо и живо, что я бы не удивился, если б у отца шевельнулись губы и шепнули мне: «Сынок...» Папа! От него всё ещё никаких вестей. Ну, уж лучше совсем никаких, чем одну плохую, ужасную... Война! Страшно! А может быть, не так уж страшно... Я пытался представить бой, но мне представлялась мальчишеская драка...

Утром я сидел на постели и читал книгу, которую занёс Витька, когда уходил пасти. Кто-то хлопнул в кухне дверь.

— Кто там? Ты, бабушка?

Неожиданно в горницу вошла Нюська.

— Я ещё не бабушка, я ещё Нюська.

И она подсеменила ко мне, маленькая, с льняными волосёнками, не знавшими гребёнок, в платице-колокольчике и босиком.

— Мишка, ты хвораешь?

— Лежу вот.

— Я тоже хворала, а потом вылечилась.

— И я вылечусь. Врач сказала: ещё дня два поваляюсь и буду как бык.

— А все быки здоровые?

— Быки-то?.. У! Все. А что им сделается.

— А что тебе помочь? Шурка велел помочь.

— А чего мне помогать? Ничего не надо... Ньюська, а хочешь, я тебе чего-то дам?

Девчонка насторожённо посмотрела на меня:

— Чего?

— А хочешь?

— Хочу.

— Ну, тогда закрой глаза, открой рот.

— А ты мне одуванчик не сунешь? Шурка мне всегда одуванчики суёт.

— Да у меня нету одуванчиков. На постели одуванчики не растут... Ну, раскрывай рот...

Ньюська нерешительно сомкнула веки и разинула рот. Я склонился к табуретке, поддел из тряпочки ложкой сахару и начал ссыпать Ньюске в рот. Она не выдержала и, решив попробовать, чем её потчуют, захлопнула рот. Часть сахару просыпалась на пол.

— Ну чего ж ты торопишься?



А Нюська распробовала сахар, расширила глазёнки, хлопнула в ладоши и вдруг, упав на колени, принялась слизывать с пола рассыпавшиеся сахаринки.

— Дура, что ты делаешь! — крикнул я и хотел слезть с койки, но, пока выпутывал из одеяла ноги, Нюська подобрала всё начисто, только блестел влажный пол.

— Сладко, — сказала она, облизывая губы.

— Пол-то грязный, — выговаривал я. — А ты языком возила. Ох, и глупая ты, Нюська... На ещё. Теперь она сама закрыла глаза и разинула рот. Я сыпнул ей ещё пол-ложки сахару.

— Закрывай-закрывай рот, больше не дам.

Нюська рассосала сахар, проглотила, потом только открыла глаза:

— Как сладко!..

— И лизать не надо было.

— Мишк, а хочешь, я подмету, пол-то грязный, у меня ажно на зубах что-то хрустит.

— Ну подмети.

Я сунул ноги обратно под одеяло. Нюська вытащила из-за печки берёзовый веник, подошла к кровати и начала махать им, еле задевая пол. Сор разлетелся по углам, а пыль поднялась столбом. Девчонка тут же бросила веник и заявила:

— Вот, теперь чисто.

— Где же чисто? Гляди, сколько напылила — дышать нечем.

— А пол чистый.

— Так пыль на воздух перелетела. Она же опять сядет.

— Ну, Мишк, чего тебе ещё помочь? — не унималась Нюська.

— Хватит, ничего больше не нужно помогать.

— Ну, тогда ладно, я пойду. Я ещё дома не мела.
— Иди.

Встряхивая головой с льняными волосёнками и вытирая руки о платице, Нюська ушла.

У меня першило в горле от пыли, но я был рад, доволен. Я откинулся на подушки, ощущая тёплый прилив радостных, нежных чувств и к Нюське, и к ребятишкам, и к бабушке Акуловой, и к Граммофонике. Оживи сейчас Кожиха — я бы каждое утро здоровался с ней и ещё бы здоровался в обед, пусть бы видела, что я воспитанный... Неужели от трубочки, подаренной врачом, я стал набирать силу и бодрость? Значит, она волшебная? Не знаю. Но если бы в окно не лился такой чистый солнечный свет и если бы я не был уверен, что вечером ко мне придут ребята, не знаю, помогла бы мне трубочка или нет. Наверное, нет.

В общем, мне было хорошо, только надоело лежать и бездельничать.

Манило на простор, на траву, за деревню, в Клубничный березняк, над которым облака, наверное, показывают сейчас своё удивительное кино; тянуло к ребятам, к неугомонной жизни.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Дураком я не стал. От раны сохранилась лишь маленькая ямочка-шрам, которая прощупывалась под волосами. Вот и с папой я выравнился: у него — шрам и у меня — шрам. Так постепенно выравниваешься, наверно, со всеми людьми.

Мы пригнали стадо в деревню переждать полуденную жару. Ребята убежали на озеро купаться, а мы

с Витькой заскочили к ним за книжкой. Витька протасил меня в переднюю комнату.

— Вот, выбирай.

Я оказался лицом к лицу с этажеркой, битком набитой разными книгами. От разноцветных переплёт-ов рябило в глазах. Казалось, кто-то разрезал раду-гу и по кускам уложил её на эти полки.

— Нет уж, Вить. Ты мне сам дай, а то я до вечера провыбираю.

— Сам? Хорошо... Вот. «Путешествие Гулливера в страну лилипутов». Буквы по сантиметру. Во — книжечка!

Два часа спустя мы уже лежали на склоне Мокро-го лога и читали. Толика не было, он поднялся за-чем-то в Клубничный березняк. Овцы медленно бре-ли мимо, не обращая на нас внимания. Кому что. Мы теперь скучали без книг.

— Гляньте, brave солдат идёт,— прервал чте-ние Петька, приподняв голову.

Мы оглянулись. По склону шёл маленький челове-чек, помахивая узелком в одной руке. Он часто при-останавливался, наклонялся, что-то ощупывал, а то бежал за кем-то в сторону, а не догнав, бросал вслед узелком, поднимал и шёл дальше. Это была Нюська. Она подошла, уселась перед нами и развя-зала узелок.

— Шурк, ешь.

— Ты чего меня одного угощаешь?

— А кого же ещё?

— Кого? Всех.

— На всех тут не хватит,— оправдывалась Нюська.

— Надо приносить больше, чтоб на всех хватило.

— Мне не донести — вы помногу едите.

— Да уж, нам только подавай,— согласился

Колька, вытащил из-за пазухи огурец, куснул, лёг на спину и стал жевать, глядя в небо.

— Вредно есть лёжа — подавишься, — заметил Витька.

— Не подавлюсь, — ответил Колька. — Я могу даже вверх ногами уплестать. Я могу с огурцом нырнуть в воду, а вынырнуть без огурца.

— Ты его утопишь, — сказал Витька.

— Что я, дурак — огурцы топить. Я его съем, — возразил Колька и вдруг поперхнулся и раскашлялся.

Петька начал колотить его ладонью по спине.

Шурка развязал узелок и проговорил:

— Ты чего это яйца подавила?

— Я падала, — объяснила Нюська.

— Ты в кузнечиков швыряла, — уличил брат.

— Раз они прыгучие.

Подошёл задумчивый Толик с охапкой как попало набранных ромашек. Нюська оживлённо привскочила:

— Где ты нарвал ромашек?

— В березняке. Там их много.

— Я тоже пойду нарву, и кузнечика поймаю, и дёгтю у него выманю, и Шурке сапоги смажу, — затараторила она, подпрыгивая на одной ножке и поднимаясь на бугор.

— Толь, зачем это ромашки? — спросил я.

— На могилу маме...

Сблизившись с Кожиными, мы как-то забыли про Кожиху. Мы привыкли к их сиротству и даже не замечали его. Бабушка Акулова, казалось, вечно была при них. Но не привыкли сами ребята Кожины. Иногда в пылу какого-нибудь разговора они вдруг склоняли головы и замолкали на некоторое время. А утрами, когда мы выгоняли стадо из деревни,

Кожины сворачивали к кладбищу и приходили к нам позже. Почему могилки не расположены с другого края деревни, чтобы каждый раз не наткаться на них, не бередить ребячьи души? Можно и стадо гонять в другую сторону, но там слишком близко подступают болота, нет тальниковых зарослей и очень мелкая трава.

Толик сел и рассыпал перед собой ромашки. Витька подобрался к нему, и они стали выбирать цветочки со здоровыми правильными венчиками.

— Лучше веночек сплести, а так коровы сразу слопают,— заметил Колька.

— Венки мы не умеем плести. У нас никто до мамы не умирал, а папе кто-то чужой плёл. А может, и совсем никто не плёл...

— А вы не из цыган? — пальнул вдруг Колька вопросом.

Толик слегка усмехнулся:

— Почему ты думаешь, что мы из цыган?

— Да сдуру он,— вмешался Петька.

— Вы какие-то чёрные,— ответил Колька.

— Мама наша — грузинка, должно быть, от этого, а отец — русский.

— А почему так? — Толик пожал плечами.— И почему ваша мать была такой...— начал было закручивать Колька новый вопрос, но Петька оборвал его, ткнув носом в траву:

— Хватит! Распочемукался!

— Нет, пусть, если интересно,— заступился Толик.— Ты хотел спросить, почему мама была такой строгой?

— Да.

— А чем это плохо? — в свою очередь спросил Толик, оглядывая нас.— Ну, чем? — Мы молчали.— Я, может быть, не всё оправдываю в маме,

потому что кое-чего, наверно, просто не понимаю, но вот строгость — это, по-моему, полезная штука! Да, Витя?

— Если не чересчур,— отозвался тот.

— У мамы не было чересчур.

— Ага! — встрял опять Колька, отодвигаясь от Петьки.— Почему же она запрещала вам играть с нами?

— Кто это вам сказал? — строго спросил Витька.— Она, наоборот, удивлялась, почему это мы не можем подружиться. У нас было столько товарищей в городе! А тут... Она даже говорила, что, мол, сами подойдите!..

— А чего ж вы?..

— Чего ж! — Витька потупился.— Мы видели, что вы не очень к нам, даже совсем... Вот мы и не подходили.

— А почему она говорила маме, чтобы она не пускала меня пасти овец? — спросил я.

— Она боялась.

— Чего бояться-то?

— Не знаю. Она боялась за нас, за вас — за всех. Больные всегда, наверно, боятся. Она и до войны-то боялась, а тут как началось! Бомбёжки! Соседние дома взлетали на воздух, с нашего крышу сорвало... Здоровый мог с ума сойти.

Шурка вдруг сел, подтянул к себе цветы и начал плести венок. Мы тоже подсели ближе к ромашковой кучке и запустили в неё руки.

Мы сплели три венка.

Вечером, когда гнали стадо домой, Кожины и я свернули на кладбище. Венки нёс Витька, нанизав их на руку. Среди крестов были и деревянные, и железные. Были и камни с неуклюжими надписями, и даже каменная плита, которой, говорят, придави-

ли сумасшедшую, чтобы она не ожила. Могила
Кожихи была с краю. Дёрн, укрывавший холмик,
оказался разбросанным и растоптанным. Наверное,
быки чесали лбы. В полном молчании мы стара-
тельно подобрали остатки и аккуратно уложили
на бугорок. Все три венка Витька надел на крест.
Мы постояли с минуту, опустив голову, потом на-



дёрнули кепки и пошли вон с кладбища. Спи, спи, тётя Ольга!

На скотном дворе нас перехватил Анатолий. Он распрягал кобылёнку Грёзу, которая шаталась, как скамейка с расхлябанными ножками, когда Анатолий стаскивал узкий хомут. Все худые лошади — большеголовые.

— Так вот: сегодня известная вам тётка Феоктиста, моя мать, истопит баню. Официально приглашаю весь пастуший персонал на санобработку. Всех, кроме этой дамы.— И он указал на Нюську.— Сбор через полчаса. Явка обязательна. Ясно?

— Ясно! — молодецки ответил Петька Лейтенант.— Явимся.

Анатолий обернулся:

— Являются только черти, а люди прибывают... То-то.

Это было хорошо: помыться. Лето летом, а телу требовалась горячая вода. Я не был в бане уже с месяц, а Колька — не знаю сколько. Кожины отказались — бабка Акулова недавно топила им свою баню.

Мама живо собрала бельё: штаны, рубашку и полотенце с мылом. В сенях она догнала меня и вложила в ладонь какой-то кулёк.

— Что это?

— Передай тёте Фикте... Соль. У них нету соли, а нам вдвоём хватит... Только взамен ничего не бери. Она будет давать, ругаться, а ты не бери. Она ведь знаешь какая, наша тётя Фиктя... Ну, беги.

Гусиное отродье белыми цепочками тянулось с полей и болот.

Сытые, с тяжёлой развалкой, они проходили мимо чужих дворов тихо, тайком, а возле своих поднимали оглушительный гвалт — радуйтесь, мол, хо-

зяева, мы вернулись. Гавкали собаки. Наскучавшись за день по людям, они отводили душу и на знакомых и на незнакомых.

Я не стал открывать скрипучих ворот, а просто перелез ограду и поднялся на крыльцо. Сквозь неприкрытую дверь из сеней доносился разговор:

— Я перехожу, Толь. У вас вон какая орава! А если ещё тётка Фиктя сляжет! Кто будет вести хозяйство?

Я узнал голос Нинки, подружки Анатолия.

— А про тебя знаешь что болтать будут? — спрашивал Анатолий.

— Знаю.

— А?

— Знаю.

— Знаешь, да не переживаешь... А зашепчутся: свадьбы, мол, не было, а она уже с парнем... Приятно тебе будет?

— Толя, да чёрт же с ними. Мы-то знаем, что к чему. У нас же свои мысли.

— Ну, гляди, Нин... Я-то готов, я-то с радостью. Мне, кроме тебя, никого на свете не надо...

Я распахнул дверь. Анатолий сидел на хомуте, повесив голову. Нинка стояла, прислонившись спиной к стене. Я, не задерживаясь в сенях, прошёл в избу. В банный день обычно зажигалась лампа, хлопотливо сновали люди, готовя к ужину что-нибудь повкуснее, и вообще в домах царила хозяйская толкотня. И потому неожиданным было безмолвие, встретившее меня в избе. За столом лишь кто-то урывками всхлипывал, да из горницы слышался то ли тихий плач, то ли вздохи, которые бывают после плача. На кровати лежала слабо охающая тётка Феоктиста.

— Вот, соль принёс, — несмело сказал я.

Мне ответил шёпот:

— Положи на шесток.

Я дотянулся до шеста и положил кулёк.

— А... чего вы хнычете?

Тот же голос ответил:

— Хнычем... Мы уже изревелись, вот и хнычем...

Тятюку убили.

И тотчас за столом вспыхнуло дружное, слёзное рыдание. Я вздрогнул от этого неожиданного припадка безудержного плача, от этой обжигающей волны горя.

Убили дядю Мишу? Этого весёлого человека, который так любил нашу семью? Дядя Миша работал мельником и всегда возвращался домой весь в муке: на ладонях — мучные мозоли, из бровей сыпались отруби. Он сажал меня на колени и грубовато рассказывал про жернова, которые вертятся у него на мельнице, про то, как в одну дыру загружают зерно, а из другой течёт мука. Он обещал выучить меня мельничному делу, когда я подрасту и когда я узнаю, сколько будет семью восемь. И вот дядю Мишу убили! Я, прижимаясь к печке, допятился до порога и выскочил в сени. Тут меня поймал Анатолий.

— Куда?

— Домой. Маме скажу про дядю Мишу.

— Не к спеху... Весть уже никуда не денется...

Пошли-ка, братуха. Твои-то друзья уже тут...

Анатолий наподавал столько пару, что мы плашмя распростёрлись на полу, боясь поднять носы, а Колька примостился возле шайки с холодной водой и то и дело совал в неё по плечи свою голову, как головешку, которую хотят загасить. Напарившись сам, Анатолий принялся за нас. Наши худые спины гремели, как стиральные доски. Мы еле вы-

ползли из бани и минут десять бестолково сидели на брёвнах, отдуваясь и вытирая пот.

Обессиленные, мы плелись по улице, как пьяные. Но прохлада выбила из нас банный дурман, и под конец мы уже бежали. Я ворвался в дом и с ходу крикнул:

— Мама!.. Мама, дядю Мишу убили!

— Какого?

— Тёти Фиктиного... Тётя Фиктя валяется на койке, а девчонки ревут!

Я говорил сухо, дребезжащим голосом. Мама свела брови, задумалась на миг, потом быстро сказала:

— Садись кушай... Я схожу к Фикте... Сегодня чтоб никаких вечёрок!

Мама ушла. Я скинул сандалии, забрался на кровать и в упор стал рассматривать портрет отца. Папа, папа! Вот и дядю Мишу убили. А как же ты? Ведь и тебя могут... Я видел его волосы, его шрам, я пытался заглянуть ему в глаза глубже, заглянец фотографии, но, кроме упрямого блеска, ничего не видел.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Дед Митрофан так обрадовался нашему приходу, что чуть не расплакался.

— Вы уж, босалыги, не судите старика-то... Скука ведь окаянная берёт. Лежу-лежу, за мухами слежу да себя клянущ...

— А вы книжки читать умеете? — спросил Витька.

— Нет, милоч. Я из книжек только сигарки могу вертеть.

— А что нога, идёт на поправ?

— Лешак её знает, куда она идёт. Гипсой облепили, а что там, внутри,— только догадывайся.— Дед Митрофан вздохнул: — Срастётся, коли прежде не помру... Ну, а как там Марья-то, ужилась с Чертилой?

— Ужилась.

— Ох, ить окаянный!.. Я его всё одно отучу перечить, я его...— Старик потряс кулаком, потом улынулся.— Ну, а с вами как Марья? Почитает вас?

— Почитает,— сказал Колька.— Ругается, будто мы... эти...

— Вы бы уж скорей, дедушка, поправлялись.

— А куды же я денусь — поправлюсь. Полежу вот да и опять... Вы не забывайте старика, а то я в тоску впадаю... Только что мухи, вот суседи вроде... Семьдесят лет прожил, а мух как следует не знал, летают, леший их возьми, а кто такие — убей, не скажу... А тут я нагляделся. И ноги-то у них есть, и носом-то они воротят, и крылышки-то поглаживают... Живые ведь, а не как-нибудь... Чего только нет на белом свете.— Дед опять вздохнул, покачал головой.— Ну ладно, заболтался старый... А Марье передайте: мол, дед Митрофан не велел кричать.

В сенях медсестра сказала нам:

— Скоро, скоро отпустим вашего деда. Он нам тут надоел своими разговорами о вас да о каком-то баране...

Когда мы возвращались из больницы, Петька сказал, что надо что-нибудь вытворить, что он стал тихоней, а это не к лицу мальчишке. И он стал придумывать дело.

— Надо такое, чтобы увидели утром люди да и заругались.

— А вы ничего такого не делали, чтобы уторм люди не заругались бы, а обрадовались? — вдруг спросил Толик.

Мы задумались. Нет. Все наши хитрости и ловкие проделки были забавными только для нас.

— Это неинтересно,— убеждённо заявил Петька Лейтенант.— То ли дело, чтоб всё в тайне, всё шито-крыто. Ничего не было, потом вдруг бах, вот тебе и раз!

— Во! — поддержал Колька.— Раз — и готово! Толик улыбнулся.

— Чудаки! И здесь также шито-крыто, а потом бах — откуда что взялось? Хорошо ведь?

— Толь, а вы-то так делали? — спросил я.

Толик обернулся ко мне:

— Делали. В городе на нашей улице был один двор. Решили его озеленить — посадить деревья. Нарыли взрослые ям, привезли саженцы, а посадить не успели — вечер.

— Ну, и вы ночью посадили,— докончил неожиданно Шурка.

— Да... как это ты угадал?.. С тех пор мама, когда сердилась, советовала нам брать пример с тех, кто сажал деревья.

— С самих себя, значит! — догадался я.— Так хорошо брать пример, когда с самих себя.

— А у вас разве богу не верили? — спросил Колька.

— А что?

— Могли вашу работу богу причислить.

— Нет, богу не верили. По радио даже передали об этом.

Петька Лейтенант вздохнул:

— А вот нам радио ещё не изобрели. Всю тайгу в деревню перетащи — не передадут.

— А тебе обязательно, чтобы передавали? — спросил Шурка.

— Не обязательно. А всё же таки...

— Озеленять тут нечего,— проговорил Толик.— Но можно другое сделать...

— Что можно?

— Ну, хотя бы прибрать скотный двор.

— У! — сказал Шурка.— Это нисколько не интересно! А вот другое...

И Шурка предложил план, который мы тотчас приняли.

Поздно вечером мы вшестером тихо подошли к дому Граммофоники.

Света в доме не было.

Низкий сруб бани блестел в темноте, рядом валялись брёвна, сброшенные когда-то нами на землю. Тонкий месяц сверкал в небе, или близко, или далеко — не поймёшь. Месяц — это как высушенная луна, и свет у него слабый-слабый.

Мы как можно осторожнее принялись за дело. Шурка, Петька и Колька кое-что смыслили в том, как класть сруб, поэтому они взобрались наверх, а мы втроём взялись за бревно. Подали сперва один конец, потом другой. Наверху приняли бревно, уложили в гнёзда и стали поворачивать его, чтобы оно улеглось плотно.

— Всё?

— Сейчас... Петька, чуть-чуть ещё... Так, хорош... Давайте новое.

Они пошли на другую стенку, но тут оказалось, что Кольке прищемило бревном штанину. Пришлось бревно приподнимать, а потом укладывать снова. Петька чуть не сбросил Кольку со сруба, до того разозлился.

Работа двигалась. Одно бревно было очень тяжё-

лым. Мы втроём едва приподняли конец и только хотели подать наверх, как вдруг на крыльцо кто-то вышел. Что делать? Шевелиться нельзя — заметят, а бросить бревно — погубить всю затею. И мы замерли, кто как был. Бревно давило загорбки.

Человек на крыльце прокашлялся и ушёл в избу. Задержись он ещё на минуту — я бы сел, и бревно придавило бы меня. Собрав силы, мы подтолкнули бревно вперёд, упёрли его в угол и облегчённо вздохнули.

Больше нам никто не мешал. Мы кончили дело благополучно, если не считать, что Колька сорвался один раз со сруба и увлёк за собой Петьку. Колька приземлился безболезненно, а Петька ударился коленкой о самый нижний венец.

— Зачем ты за меня-то уцепился, кочерыжка ты большеголовая? — зло шипел Лейтенант.

— А за кого мне цепляться? За воздух, что ли? — шёпотом отвечал Колька.



— Ни за кого не надо. Полетел, так лети один.

— Ага, один. Один лети сам...

Петька погладил колено и снова забрался на сруб, а Кольке сказал:


— Иди на Шуркин край, я без тебя обойдусь, помощничек.

Мы сели отдыхать внутри сруба. Мне было жарко. Лоб вспотел. Но в теле усталости не чувствовалось, наоборот — бодрость. Сердце наполнилось радостью. Хотелось ещё что-нибудь таскать, двигать, ворочать.

— Э,— сказал Петька.— Гармошка стихла. Скоро пойдут с гулянки, заметят. Айдайте отсюда.

Мы побежали, то и дело оглядываясь на сруб, который скоро потерялся в темноте.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

вцы паслись за конским кладбищем на нетронутых травах и быстро насытились. Мы пригнали стадо раньше обычного.

— Ленились, что ли, вы? — встретила нас тётка Марья, но, приглядевшись к круглым овечьим бокам, миролюбиво dokonчила: — Ладно, ладно уж...

Мы начали привыкать к ворчливой сторожихе и делали своё дело, не обращая на неё внимания.

Толик второй день не пас. Он мастерил модель самолёта с резиновым моторчиком. Невероятная штука! Мы шли к нему справиться, как продвинулась работа. Шурка хотел заодно взять какую-нибудь сказку для Нюски.

Приближался дождь. Тучка была небольшой, но тяжёлой. Такие приносят скоротечные ливни и долго не мутят небо.

Неожиданно из ворот нашего двора выбежала мама. Она кинулась ко мне с плачем:

— Миша, письмо от папы! Письмо! — Она прижала мою голову к себе и заплакала ещё громче, навзрыд, посреди улицы.

Я быстро высвободил голову:

— Где письмо?

— Вот оно. — Мама запустила руку в карман, пошарила... — Нету... где ж оно? — Беспокойно потёрла висок, вспоминая. — Было со мной и нету. Господи! Как же так?! Выронила... Мишенька, я его, наверное, в огороде обронила, когда копала картошку... Ой, побежали, ребятки, в огород. Письмо написано химическим карандашом. Его размочит дождь, и всё — его не будет.

Туча надвигалась на деревню. От её разлохмаченного днища падал до земли мутный полог. Где-то, наверное на конце деревни, уже поливало.

Мама торопливо, растерянно разглядывала картофельную ботву.

— Я вот здесь проходила... Вот здесь... Ну, что за напасть! Ребята, миленькие мои, ищите!

Мы и так шныряли всюду. Колька вздумал привести для поисков собаку — его никто не поддержал. Я ползал между гнёзд, проникая взглядом в каждый куст. По огороду пронёсся ветер, задирая ботву на левую, светлую сторону. И тотчас по листьям прозвенели первые капли.

Мама заплакала.

— Что же это?.. Где же письмо?!

— Вот письмо! — вдруг радостно крикнул Витька, взмахнув белым треугольником.

И вслед за этим хлынул нетерпеливый дождь, хлынул при солнце. Мы вымокли до нитки, пока добежали до избы, но письмо, сунутое Витькой за пазуху,

осталось сухим. Тут же, распахнув двери на пороге сеней, мама, осторожно держа листок мокрыми пальцами за края, вслух прочитала нам.

Папа был ранен, потерял сознание. Немцы перешли в наступление, наши не выдержали — отступили, и он оказался в фашистском тылу. Немцы поймали его, но с двумя товарищами ему удалось бежать. Потом они наткнулись на партизан. Папе залечили раны. У партизан он и остался.

Папа писал, как они взрывали железные дороги, пускали под откос фашистские эшелоны, забрасывали гранатами автоколонны. Совсем недавно папу на самолёте переправили на Большую землю — на нашу сторону. Скоро он снова будет бить фашистов.

— Ну-ка, мам,— потянулся я к письму.

Мама подала мне его:

— Смотри, Мишенька!

В конце письма я увидел крупные слова: ТВОЙ ПАВЕЛ И ТВОЙ ПАПА.

Я говорил, что папа жив! Я говорил, что он воюет! Я верил! Может, он и жив потому, что я очень верил?!

Слепой дождь кончился так же быстро, как и нагрянул. Солнце опускалось в облако, которое, казалось, нарочно прилетело на горизонт, чтобы смягчить ему посадку. Солнце горело, как яйцо жар-птицы в гнезде.

Мама сидела на берёзовых поленьях, сложенных у дверей, и глядела куда-то мимо домов, вдаль. Слёзы на щеках её высохли, но глаза и ресницы ещё блестели.

— Саньк, мы после к вам сбегает — может, и от дяди Филиппа пришло письмо.

Я это сказал Шурке тихо, и в самое ухо, чтобы не



услышали Кожины — им ведь не от кого получать писем.

— Ладно,— ответил Шурка.

На следующий день, когда мы в Клубничном березняке играли в войну-прятки, поочерёдно дежуря с ружьём возле овец, с неожиданным шумом опрокинулись кусты и, подминая их, показалась лошадёнка Грёза.

Тётка Дарья правила стоя. Папоротник подходил лошади под брюхо, а телеги не было видно. Казалось, тётка Дарья, как волшебница, скользит по верхушкам трав.

— Тпру-у!.. Эк, вы куда забрались! — Она спрыгнула в папоротник.— О, сколько вас! Недаром дед Митрофан говорит — гвардия!

— Это ещё не все,— сказал Колька.— Ещё придёт Толик с иропланом!

— С каким это иропланом!

— С резиновым.

Мы рассмеялись.

— А как трава, Шура? Не очень сыро тут? Овцам-то нельзя по сырости.

— Ничего,— ответил Шурка.— С утра роса, но быстро высыхает.

— Ну, и ладно, мужички! А я, Петро, за тобой! — вдруг сказала тётка Дарья.— Садись, поедешь со мной в поле, на комбайн. Будешь задвижкой бункера управлять.

Мы насторожились.

— Никуда я не поеду! — угрюмо сказал Петька.

— Поедешь! Раз надо для пользы — значит, поедешь! — заверила тётка Дарья.— Не навечно.

Из-за кустов появился Толик с моделью в руке.

— Здравствуйте!

— Здравствуй, Толя,— ответила тётка Дарья.— Это и есть твой ироплан?

— Да, это самолёт. Хотите посмотреть, как он полетит?

— Ну-ну!

Толик пальцем принялся вертеть винт. Резинка, сплетённая из многих тонких длинных резинок, сначала свободно провисала, потом стала напрягаться.

— Вот и всё... Надо его вдоль склона пустить, он может далеко улететь. Пойдёмте вон туда.

Мы готовы были идти на край света.

— Только заметьте, где он приземлится, а то не найдём.

— Найдём! — сказал Лейтенант.

Придерживая пропеллер одной рукой, Толик другой поднял модель над головой и с толчком пустил. Сперва она пошла было вниз, затем вдруг выровнялась и стала набирать высоту. Вот она развернулась и полетела к болоту. Колька опасно выкрикнул:

— Куда её несёт!

Но порыв ветра заставил самолёт сделать новый вираж, и он стал подниматься выше.

Белый, он исчезал на фоне облаков, потом вдруг вырывался на голубой простор, чёткий и стремительный.

Я забыл, что у самолёта резиновый мотор — резиновое сердце. Казалось, он никогда не приземлится, а будет вот так летать и летать...

Мне почудилось, что я тоже лечу следом за ним и всё набираю, набираю высоту. Руки мои сами разошлись в стороны, я сделал шаг вниз по склону, потом пошёл быстрее, потом побежал, точно разгоняясь перед взлётом.

Я даже как-то ощутил близость прохладного неба.

Рядом бежали ребята, подхваченные тем же порывом. А Толькин самолёт всё летел и летел, увлекая нас за собой...

...И наше детство — оно тоже летело, летело и быстро и медленно, только не следили мы за его полётом...

*Декабрь 1955 г. — ноябрь 1958 г.
Новосибирск*



Для младшего школьного возраста

Геннадий Павлович Михасенко

КАНДАУРСКИЕ МАЛЬЧИШКИ

Повесть

ИБ № 6440

Ответственный редактор

Л. Г. Тихомирова

Технический редактор

Г. Г. Седова

Корректоры Э. Н. Сизова

и Т. Н. Шуваева

Сдано в набор 14.07.82. Подписано к печати 08.04.83. Формат 60×84¹/₁₆. Бум. тип. № 1. Шрифт литературный. Печать высокая. Усл. печ. л. 13,95. Усл. кр.-отт. 14,77. Уч.-изд. л. 10,37. Тираж 100 000 экз. Заказ № 1272. Цена 60 коп. Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Детская литература» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1. Ордена Трудового Красного Знамени фабрика «Детская книга» № 1 Росглаволиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, Сущевский вал, 49.

Отпечатано с фотополимерных форм «Целлофот»

Михасенко Г. П.

М69 **Кандаурские мальчишки: Повесть/Рис. О. Коровина.— М.: Дет. лит., 1983.— 238 с., ил.**

В пер.: 60 коп.

Повесть написана от лица десятилетнего мальчика и рассказывает о том, как в годы войны в глубоком тылу, в сибирской деревне, жили и работали дети и взрослые, старались помочь фронту и приблизить нашу победу.

М **4803010102—265** **199—83**
М101(03)83

Р2